



Павел ПАРАМОНОВ

г. Суздаль

*Журнальный вариант*

1

Смерч зародился на небе, на сшибке двух воздушных армий. Вольным разгулом примчавшийся с севера ледяной воздух врезался в застоявшийся воздушный пласт, проморенный нещадным жаром, пропитанный запахами июльских трав. Наплыла прогорело-чёрная, вполне туча, из которой гигантским веретеном закрутился к земле тёмно-синий с серыми жилами извивающийся столб. Этот исполнский закрут, обретая самостоятельность, уперся трубообразной ногой в землю, содрал с неё пласт зелёной «кожи» с деревцами и кустарниками, выворотил электрическую опору с проводами. Всё это вознеслось на сотню метров, почти к самой вершине, которая плавно выгибалась, словно высматривала путь.

Подпитавшись первым земным выхватом, столб стал расти и распухать, макушка у него, будто голова у бегуна на старте, наклонилась и потянулась вперёд. Вот он медленно-медленно двинулся по пустой луговине к ближайшему лесочку и дороге, за которой лежал город...

Увидев смерч, пастух у реки стал метаться около немногочисленного стада частных коров: пытался согнать их под крутой береговой откос, думая укрыть от стихии. Скотина плотно сомкнулась, тревожно косились то на пастуха, то на приближающееся неведомое мокрые ядра глаз, но кнуту коровы не подчинились.

Пастух, матерно обругав напарника, которого он полчаса назад послал за водкой в сельский магазин, пытался толчками определить скот под берег, но понял, что это бесполезней, чем нагон кнутом.

Уже охолонул шетинистый лик пастуха пробористый холод, ветер сошвырнул с мятых, вмиг припотевших волос залосненную крапистую фуражку и обтянул на худосочном теле немудрёную одежку. Шарахнулась по замутненным, «со вчерашнего», мозгам короткая и ясная мысль: «Вот он, конец жизни!» И тотчас

прихватила тоска по семье и дому: по сварливой, измотанной нищетой и болезнями жене, по сыну, который полгода назад вышел из тюрьмы и, не найдя пристанища в сельской жизни, пытался обосноваться в городе. И уж простил пастух всех их, хоть и не осознал, что это и есть прощение — вспомнить с любовью о нелюбимых...

В полупамяти пастух упал на густотравную землю, впервые остро ощутил молочно-тёплый запах луга, захотелось жить, но не так, как раньше, а по-другому: по-хорошему, по-белому, ведь начало его жизни было как раз таким... Он и учился неплохо, и окончил техникум, и служил в армии достойно, и даже в институт поступил, но где-то к тридцати вдруг сломался одним безрассудным коротким временем. Теперь почти до шестидесяти годков тянул, словно по принуждению, какую-то стыдную жизнь. Так привык к ней, что в запитом состоянии говорил о смерти кичливо и вольно: дескать, и не боится он её, приди сейчас — глазом бы не моргнул, принял бы как избавление. А вот подступила смерть — и дорога стала жизнь.

Смерч словно услышал мысли пастуха: остановился посреди поля, свистя и воя, выхаркивал из болотисто-синего чрева своего изжеванные деревья, камни, шматки дёрна и, вдруг изменив направление, двинулся от пастуха и стада на село.

Пастух понял, что остаётся жить. Ещё не веря в это и радуясь, он вскочил и побежал за столбом, словно хотел отговорить его: проходи, мол, мимо, не трогай село, коли стадо не тронул.

Чёрная стена накрыла село: одинокий мертвящий женский крик вырвался из темноты и перекусано оборвался...

Было село Беляницы — и не стало села. Степал смерч с земли дома с пристройками, церковь с колокольней. Белым пухом крутились в диком вихре куры. Серыми комьями в набухшую тучу ввёртывались гуси с перевинченными шеями. Исчезли люди, оставшиеся в селе в середине субботнего летнего дня, исчезли приезжие и дачники...

Смерч набирал силу. Слизнув село, пошёл на пионерский лагерь, тесовые корпуса которого виднелись в редколесье на отлогом берегу реки. Через минуту — ни лагеря, ни леса — голое, чёрное, словно выжженное место, и че-

тыреста детских душ вместе с воспитателями, поварами, кошками и трёхногой калекой-овчаркой, нещадно раскормленной ребячней, крутясь в воронке, неслись к огромному городскому кладбищу.

Елагин увидел тёмную стену — издали мягкую и упругую, словно резиновую. Она двигалась с полей, приближалась к железной дороге с переездом и будкой стрелочника. Вздрыбились и согнулись концы рельсов — так легко, словно сухая солома. Как к магниту, пришлёпнулись к стене рельсы и шпалы и утонули в ней. Исчезла и будка стрелочника со шлагбаумом и настилом для проезда машин. Справа и слева, вверху — кругом стена, и она наступала так быстро, что убежать было невозможно. Тишина оглушила землю.

Елагин не слышал ни единого земного звука. Он схватился за ограду дедушкиной могилы. Не веря в происходящее, попробовал крикнуть, но не вышло: только в ушах словно лопнули воздушные шарики и протяжный однотонный шум ещё дальше отдалил Елагина от реальности. Он почувствовал мелкую дрожь холодных металлических прутьев ограды, подумал, что это трясутся его руки. Нет, колебание шло от земли, оно входило в его ноги, сотрясало тело.

Стена вползла на кладбище. Полетели вверх кресты, ограды, венки. Похоронная процессия застыла на дорожке. Первыми оторвались от земли и ввинтились в стену двое с крышкой гроба. Затем сам гроб с телом встал свечкой, из него выпал кто-то стамо<sup>1</sup>, безучастный и вознёсся вслед за деревянной крышкой. А гроб, стукнувшись об асфальтовую дорожку, искорежился, облохматился красными клочками и так же легко поглотился стеной. Через секунду исчезли все, кто шёл за покойником.

Елагин увидел, как из-за катафалка вырвались и побежали по дороге в глубь кладбища двое мужиков. Один из них держал в руках лопату. Они бежали не оглядываясь: сначала — по асфальту, потом — по земле, затем — по воздуху, поднимаясь всё выше и выше, перебирая ногами, пока их не затянула догнавшая чёрная стена.

Вот она приближалась к Елагину, от неё тянуло холодом. Тот оглянулся и понял: не убежит. Тогда он присел, вцепился в ограду, надеясь, что

<sup>1</sup> Стамой (*архангельск.*) — упрямый, непослушный.

та выдержит, ведь сам буром высверливал ямки под столбики и заливал цементом.

Холодная сила сначала привздрнула Елагина, словно испробовала на крепость, потом подняла и перевернула вверх ногами вместе с боковым куском ограды, которую он намертво замкнул онемевшими пальцами. Мелькнула земля, осколок синего неба, дальний изгиб реки, зелёный поезд на рельсах... Что-то сильно ударило по ногам, но боли не было. Елагин втянулся в стену, тотчас уши, рот и нос его забились землёй. Мелкая пыль хлестнула по глазам — схлопнул веки.

Вращаясь, Елагин поднимался. Чем выше — тем безнадёжнее ощущал он себя. С такой высоты запросто не опустишься. Значит, жизнь кончилась. А ведь он поверил тем двум гадалкам у вокзала, которые за три рубля по руке обещали ему жизнь до восьмидесяти пяти лет, — да не просто поверил им, а жизнь свою стал планировать, исходя из этого долголетия.

Сейчас, прикрыв глаза, Елагин лежал на решётке, которая почему-то взлетала легче его тела. Мощный тихий гул дрожал в непроглядности стены, и вдруг он почувствовал свет, через опущенные веки уловил его слабой серой вспышкой. Елагин с усилием выщурил взгляд и сквозь слезы от песка увидел, что он вращается по внутренней плоскости стены; голова и половина туловища его висели над бездной...

«И увидел я Ангела, сходящего с небес, который имел ключ от бездны...»

Елагин не увидел ангела. Разлепленные и освежённые тугим продувом глаза его узрели невиданное, неземное, нереальное, неразумное, но явленное ему сейчас во всей своей запредельности и реальности.

Из бездны возникали и, вращаясь по спирали, возносились камни, куски железа, доски, человеческие тела и их фрагменты, красно-серые разваленные туши животных. Возносились из бездны автобусы и машины, стучались друг о друга и распадались на части. В одной из машин Елагин увидел прилипшее к лобовому стеклу женское лицо: вывороченные ужасом глаза, безмолвно кричащий рот. Машина медленно перевернулась, выдавилось стекло, и женщина выплыла наружу, держа в руках руль. И...

«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух...»  
Серебристый лист железа, вращаясь, как цир-

кульная пила, выскользнул из темноты, легко прошёл поперёк женщины и скрылся в мягкой стене. Нижняя половина жертвы, вмиг оплеснутая алым и густым, стала удаляться от верхней половины. Увидев это, женщина выпустила руль и стала протягивать руки вниз. Ноги её, уже безвозвратно удаленные, вдруг подогнулись в коленях, словно подчинились сигналу из улетающей головы. Через секунду женщина умерла. Елагин понял это по плетистому раскиду её рук.

«Что со мной? Где я? — коротко, рвано думал он, если эти искры мыслей можно было назвать размышлением. — Неужели это внезапная смерть? Отчего я умер — молния ударила?» Сердце не остановилось и прыгает в груди, Елагин слышит его. Глаза видят, руки и ноги двигаются.

А бездна вышвыривала всё новые и новые предметы, фигуры. Пастух, уже мёртвый, свинченный будто старая газета, сцепил кнутовище, а сам кнут, словно крысиный хвост, тянулся, извиваясь, впереди человека. Казалось, пастух сгоняет стадо с небесной дыбы...

Елагин старался не смотреть вниз, но непреодолимое желание глянуть в бездну словно скручивало шею, и он с ужасом, отрешаясь от себя и от мира, снова взглянул в чёрную клубящуюся дыру...

«И семь Ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить...»

Ангелы давно уже трубили, но Елагин не слышал их — что-то тяжелое долбануло по затылку, он ударился лицом о решётку ограды и закрутился, словно в центрифуге. Стало легко, в груди и животе образовалась перехватившая дух пустота, словно не человек он сейчас, а воздушный шар. И уж больше ничего не видел и не слышал вьяве, а только ощущал разноцветные всполохи, толчки и вольный лёт по звездной дороге...

Елагин выпал из небытия, как из сна, но обрадоваться не успел: он лежал на спине и полусогнутыми руками держал над собой решётку ограды. Один конец её уперся в бетонный блок, а другой вдавился в землю. Пахло палёной шерстью. Во рту Елагин ощутил тёплую сладость. Сверху на решётке что-то лежало, на лицо лились липкие струйки. Елагин чувствовал, что лежит в луже и влага пропитала его насквозь. «Река и мост! Он видел их с высоты. Он в воде, у моста...» Елагин напряг тело, с

трудом разжал омертвевшие пальцы с решётки и попробовал повернуться — боль прострелила ногу и бок, он потерял сознание.

И вдруг голоса, возня, завывы трактора, решётка над головой медленно поднимается. Крик:

— Осторожно здесь! Ты корову стащи... ух, блин! — Тишина, тяжелое дыхание людей. — Помидор в соку... Видать, вся кровь из него вытекла. Носилки сюда!

— Зачем носилки пачкать, — рассудительный голос. — Утащите его вон к тем. С него, видать, всю кожу содрало...

Елагин понял: говорят о нём. Он захотел крикнуть: вдохнул, захлебнулся какой-то пахнувшей молоком слизью, закашлялся и, задыхаясь, вскинул руки к горлу

— Господи! Он живой! — пронзительный женский голос.

Чьи-то руки — под спину. Снова крик, мужской:

— Не сгибать! Может, позвоночник!..

Повернули на бок. Елагина тут же вытошнило. Сминающая в комок слабость, но жив! Хотел сказать что-то и опять обрушился в беспомощность...

И дальше он стал жить в двух реальностях: в одной он летал, возносясь и падая. И видел мироздание разрозненным, распавшимся на составные элементы, как в детской игре; попытки соединить эти элементы доставляли ему почти физическую боль, потому что нельзя было совместить человеческую руку с головой лошади. В другой реальности он видел лица женщин в белых шапочках, они говорили друг с другом и с ним, но он не понимал о чём. Елагин хотел оставаться в этой женской реальности и просил об этом слабым стоном, казавшимся ему криком, но кто-то всемогущий не оставлял его здесь и снова затаскивал в расчлененную вихрящуюся первую реальность.

Вначале он не понимал, где же то настоящее, где он и должен обитать. Обе реальности казались ему истинными, он понимал ту и другую. Казалось, тот сверхсильный Сам никак не решит, где же оставаться Елагину, в каком из двух миров: там, где люди, животные и вещи находятся в разобранном виде или где розовые женские лица в белых шапочках. Потом эти две реальности стали расходиться всё

дальше и дальше друг от друга. Елагин наконец понял, что реальность бывает одна, а вторая — беспомощность, и что женщины в белом — это врачи, он находится в больнице. С этого осознания он стал выздоравливать.

Но теперь часто в снах Елагина летал белый камень. Шестигранная глыба возникала вдали белой точкой, приближалась, становилась похожей на ровный кусок мела, а затем разбухла в плиту и начинала вращаться по оси. На одной из её полированных граней было что-то начертано. Из всех сил пытался Елагин прочитать написанное, иногда ему казалось, что он уже различает буквы, ещё мгновение — и весь текст проступит, но камень начинал вращаться всё быстрее и быстрее, текст сливался в сплошную серую полосу. Камень удалялся в бездонную темень. Елагин хотел схватить его, остановить вращение и прочитать надпись, но руки бессильно скользили по шершавой грани, ладони жгло — и он отдергивал их. Камень улетал в бездну, исколотую жёлтыми лучистыми точками, и пропадал. Приходили разные сны: страшные и добрые, цветные и серые, короткие и длинные, но повторялся только один — с белым камнем. И потому неотвязным стало желание: перед тем как проснуться — прочитать явленную ему из неведомого каменную скрижаль.

## 2

— **Я** тебе, Елагин, советую уехать... — ...Я скрыться... сховаться... и чтоб про тебя забыли начисто, — полушёпотом, оглядываясь, редактор говорил не в кабинете, а в коридоре редакции, у курилки. — Я дам тебе хорошую характеристику, будут спрашивать — скажу: уехал на Камчатку камчадал хренов... Второй выговор из-за тебя я переживу, бутылку поставишь, но товарищи..! — редактор поднял палец в потолок. — Требуют уволить категорически. А ты где-нибудь под боком городишко подбери и заляг на время. Семьи у тебя нет. Я тебе — по-дружески, а то с этими ребятами в серых костюмах шутки плохи: зажмут в дверях одно место, и будешь остаток жизни ходить бледный, с опущенными глазами. Были у меня... за два года подшивки листали, взяли всю твою писанину. Спросили, не диссидент ли ты. Я дураком отошёл, сказал, не знаю, не видел, а пишешь ты неплохо. «Посмотрим», — ска-

зали. Ты знаешь, я много всего повидал, но, честно скажу, у меня от их слов... даже не слов, а молчания, штанишки ослабли... — К курилке шли двое. — Зайдём ко мне, — сказал редактор. — Ну, вот что, товарищ Елагин, — подмигнув и показав пальцем в потолок и на своё ухо, продолжил редактор громко, строго уже в кабинете. — Мнение редколлегии ты знаешь. Очерк твой злопыхательский, вредный. Видимо, ты ещё не созрел для работы в такой газете, как наша. Нужно тебе поучиться у жизни, так сказать... поднабраться опыта. — Редактор развёл руками: мол, что я могу сделать — кругом уши, глаза.

— Ладно, — сказал Елагин. — Пойдём в жизнь... будем учиться у жизни... а потом — претворять полученное знание в жизнь! Философская круговерть... А вы верите в Бога, Геннадий Григорьевич? — спросил неожиданно у редактора.

— Отвечу тебе на этот вопрос, товарищ Елагин, — тот был готов к любым неожиданностям и говорил спокойно, не меняя тона, с лёгким назидательным растягом голоса. — Когда часто бьют по голове, то и о Боге вспоминаешь. Доволен ответом, Серёжа?

— Доволен, Геннадий Григорьевич, — иронично ответил Елагин. — Расчёт сегодня оформлять? — спросил, вставая со стула.

— Завтра, Серёжа, с утречка приходи — оформим... И деньги получишь, и поговорим, — ответил редактор.

Очерк был о прядильщице с меланжевого комбината Дарье Пичугиной, и назывался он «Школа орденосцев».

Крупная круглолицая розовощекая девчонка приехала из глухого архангельского села. Вернее — нашла её там и сговорила на приезд штатная вербовщица комбината Куросекова — «мадам», как называли её девчонки из ФЗО. На комбинате был целый отдел, сотрудники которого ездили по стране и вербовали сельских девчонок, обещая им прекрасные условия труда и быта, учёбу в вузах и непьющих женихов.

Сильная сноровистая девчонка хватко взялась за учёбу, в положенный срок освоила прядильное дело. Дали ей в цехе группу из двенадцати станков — справлялась легко. Пошущукалось начальство, посмотрело на девушку со всех сторон, личное дело полистали (хотя какое там личное дело пос-

ле десятого класса), навели о ней справки и пригласили в комитет комсомола комбината.

— А позвали мы тебя вот зачем, Дарья Пичугина, — сказал отутюженный добрый молодец с комсомольским значком на широкой груди. Он с удовольствием разглядывал раскрасневшуюся от волнения, припотевшую от жаркого цеха девушку. — Посоветовались мы с товарищами, и есть у нас такое мнение: поручить тебе важное комсомольское дело, — секретарь многозначительно помолчал. — Ответь мне на такой вопрос: смогла бы ты освоить двадцать четыре станка?

— А чё такого?! — не раздумывая, выпалила Дарья. — Потяжелей маленько...

— Та-ак, — одобрительно протянул главный комсомолец комбината. — А тридцать шесть?

Дарья неожиданно засмеялась: вспомнился ей наизусть заученный фильм «Чапаев», который месяцами крутили в её родной глухомани.

— Вы как Петька Чапаева пытаете, — сказала и смутилась.

— Ну, до Чапаева нам далеко, — посмурнел предводитель комсомолки, недовольный тем, что эта девчонка сбила его с начальственной загадочности.

— Дак тридцать шесть вон за Андруховой, — быстро перевела разговор на дело Дарья. — А у неё три помастера, так-то и я смогу...

Андрухова — прядильщица-орденосец, чуть постарше Дарьи, гремела на всю область.

— Значит, сможешь! — подытожил лощёный, занявшийся молодым упругим жирком хозяин просторного кабинета с четырьмя бархатными знаменами на металлическом каркасе в углу, множеством вымпелов и грамот по стенам, хрустальной люстры, глубокого кожаного кресла с промятиной в середине от тяжелой задницы секретаря.

— Дак чего ж не смочь, чаюшки, не слабая какая! Коли дадут трёх помастеров — смогу!

— На том и порешили, — закончил разговор секретарь. — Иди работай, Дарья Пичугина.

И закрутилось!

За первый месяц скоростной работы прядильщица Дарья Пичугина выдала три с половиной нормы. Корреспондент комбинатской многотиражки под названием «Текстильщик» извёл на портрет ударницы аж пятнадцать кадров. Он снимал бы её и больше — так она ему понравив-

лась, но та прикрикнула на него: «Хватит, а то язык покажу!»

Первый раз Елагин увидел Дарью на слёте передовиков текстильной промышленности.

— Тут вот какое дело, Серёжа, — сказал заведующий промышленным отделом газеты. — Напиши-ка о слёте строк триста, а главное — приглядишься к... — он начал рыться в бумагах, поругивая память, нашёл, — к Пичугиной — прядильщице с комбината. Звонили редактору из обкома... Эту девчонку, видеть, на орден толкают, ты и напиши о ней...

Огромный Дом культуры текстильщиков был местом проведения важных совещаний, слётов, концертов, говоря бюрократическим языком, — «мероприятий».

Елагин не любил бывать на совещаниях: они тянулись по многу часов, выступающие читали тексты, написанные на листочках, ломано и скучно. Но на таких совещаниях можно было купить в буфете копчёную колбасу, хорошие консервы, чай со слонем, импортные сигареты. В этот раз на прилавке буфета глазастро топорщилась упреждающая табличка «Только для участников слёта!».

«Облом, — подумал Елагин. — Потерянное время». Всмотрел в перерыве секретаря комитета комсомола комбината и спросил о Пичугиной. Договорились: секретарь пригласит её из зала в фойе.

«Деревенская деваха: морда глупая, сиськи в растык, обязательно кривые ноги и тряский зад», — зло подумал Елагин.

Дарья возникла у него за спиной.

— Вы меня ищите? — спросила протяжно, северно, глуховато-грудным голосом.

Повернулся. Вплотную — огромные спокойные, словно бы отстраненные от всего происходящего сейчас глаза и какая-то... даже не улыбка, а ответ улыбки. Улыбка там, внутри, в душе, а на лице — свет. Словно подходишь к родному дому, издали не светятся окна — значит, пуст дом, не ждут тебя здесь, а подошёл близко и угадал за плотными шторами свечение в комнате. Затаённый свет — дом живой и тёплый!

— Да ты не Пичугина, а Лебедева! — вырвалось у Елагина.

И снова протяжный грудной голос:

— Ой, да Пичугина я! У папы с мамой такая фа-

милія! — и — доверчивая улыбка. — А почему Лебедева? Похожа на знакомую вашу?

— Очень похожа, — без ответной улыбки и предполагаемой в таких случаях игривости ответил Елагин. «Глуповата, прости господи», — стрекнула мысль.

И опять с чувством потерянного времени объяснял Елагин Дарье Пичугиной, почему он встретился с ней и что от неё нужно. В ответ на её: «А обо мне уже писали, и фотография была», — растолковывал, словно школьнице, что о ней писали в многотиражке, а он корреспондент областной, самой главной партийной газеты, которая называется «Текстильный край». Читает ли она её? «Иногда покупаем с девчонками, у вас телевизионную программу крупно печатают».

Елагин хотел было позлиться, но не получилось. Он почему-то отводил глаза от её взгляда — постоянно в упор, словно от света фонариков в ночи, когда наставляют на тебя в незнакомом месте, пытаясь определить, кто ты такой, с чем пришел.

И закрутила июльским полуденным жаром эта незнакомая доселе Елагину стихия, которую он в редкие минуты остуды пытался определить. Может, то было неизведанное им еще штампованное, испошленное, изгрязенное блудливыми языками чувство, обозначенное словом «любовь»? Или что-то другое? Но оно появилось в нём, а значит, есть и в других, — есть на земле, и опозлать его нельзя, потому что такой красоты, силы и в то же время неизведанности в душе своей Елагин никогда не испытывал.

Мужиком по тем временам он стал рано. В шестнадцать лет произошла первая близость с девчонкой, которая была старше его на два года и уже имела опыт желанного для пацанов интимного общения. Всё произошло быстро, суетливо, воровато на повальной спячке в новогоднюю ночь на ватных матрацах в просторном частном доме друга Елагина. Девушка эта была, по хвастливым мальчишечьим сплетням, «слаба на передок» и успела за одну ночь снять напряжение ещё с трёх елагинских друзей, оставаясь при этом скромной, улыбчивой и даже несколько застенчивой. А дальше пошла «жеребчиковая» жизнь с чередованием учёбы, занятий в спортивной школе, чтением

книг и главным телесным удовольствием, которое состояло в завлечении или, как тогда говорили, «кадрении» ветреных девчонок и ни к чему не обязывающие отношения.

Была у Елагина и особая преармейская любовь. Сильная, ослепляющая...

У неё были роскошные каштановые волосы, легкая скрипичная фигура. Она шла по цеху стройно, прямо. Блестящие волосы, густой накладкой лежащие на плечах, слегка подёргивались, гладили её узкую спину. Галя — технолог механического цеха, где Елагин зарабатывал свой необходимый для поступления в институт трудовой стаж. Со своего погрузчика (электрокара) Елагин смотрел на Галю. За смену она раз пять проходила по цеху, и всякий раз — близко ли, далеко ли — их взгляды встречались.

После вечерней смены он провожал её домой: жила Галя на другом конце города. Они шли пешком по тихим летним улочкам, переговаривались каким-то быстрым волнительным полуслёпотом. Подходили к площадке детского сада с высокими кустами калины и речным заборчиком. Оглянувшись по сторонам, Елагин сдвигал часть забора, нырял в узкий ход между кустами и протягивал руку Гале.

В летней беседке, мутно освещенной луной, сжалась непроницаемая тишина. Едва не задохнувшись в едином полувздохе, они слипались друг с другом в отчаянных поцелуях. Они только за этим и шли сюда, на случайно найденное ими место ночных свиданий.

Елагин садился на широкую дощатую лавочку, Галя — ему на колени. Её маленькие круглые груди с темными изюминами сосков выкатывались из расстегнутой кофточки. Елагин целовал их, чувствовал, как твердеют и увеличиваются сосочки. Галя начинала тихо постанывать и вжимать груди в лицо Елагину. Он поднимал Галю с колен, сворачивал её спиной на скамейку... Когда она начинала кричать, он зажимал ей рот поцелуем, шептал: «Тише... тише...» У неё были горячие бедра и прохладные колени. Этот контраст больше всего возбуждал Елагина.

Они тем же путем вылезали с детской площадки и, прижавшись друг к другу, шли к Галиному большому многоэтажному дому. Расходились, не задерживаясь, устало чмокнув друг друга в губы.

Такие свидания с Галей продолжались всё лето и тёплое начало осени после вечерних смен на заводе. В ноябре Елагина призвали в армию.

Через пять месяцев после начала службы от Гали пришло письмо: «Прости, я полюбила другого. Я стала его женой. Мы ждём ребёнка».

Елагин пережил это бутылкой водки и тяжёлым суточным сном, который устроил ему молодой, но понятливый замполит роты, когда узнал о страшном для солдата-первогодка письме.

После этого случая он стал писать: сначала — в стенгазету, потом — в дивизионную многотиражку. Когда два материала опубликовала газета «Красная Звезда», понял: его дорога — в журналистику. После службы поступил в институт на журфак и успешно его окончил.

Про прядильщицу Дарью Пичугину Елагин написал очерк за один присест. Как-то так выстроилось всё по порядку, ладненько. Была в очерке и романтика юной девушки из провинции, мечтающей преодолевать трудности и быть независимой от родителей, и желание стать полезной Родине, и первая встреча со станками, которые пугали оглушающим грохотом и диким вращением веретён, и люди, которые приняли её в свой сплочённый коллектив. В общем, как в песне: «Трудовые будни — праздники для нас!» Но где-то с середины очерка начали вползать в него строчки не восторженные, не праздничные, а очень будничные, натуральные. Как болят ноги и ломит пальцы рук, как в ночные смены слипаются глаза, а переборов сон, днём не можешь заснуть и всё тело словно битое. В выходные не успеваешь отдохнуть, и часто прихватывает тоска по родительскому дому.

А ещё Елагин задал в очерке очень простые вопросы: зачем одной прядильщице работать на тридцати шести станках, если норма — двенадцать? Для чего эти рекорды? Не от таких ли нагрузок убегают многие девчонки, едва окончившие ФЗО и не отработавшие на фабриках два обязательных после учебы года?

Эти мысли возникали у Елагина сами собой. Он задавал вопросы себе и никакой крамолы в них не чувствовал. А ещё он оживил очерк бытовыми особенностями многотысячного женского сообщества текстильного комбина-

та. Как этот коллектив пёстрой широкой лентой выливается из дверей проходной после вечерней смены в тихую летнюю ночь, запружает аллеи, уводящие в рабочий посёлок, в дома и общежития; каким криком разговаривают женщины друг с другом после восьмичасового станочного грохота; как одна за другой прилипают девушки к встречающим их парням; как у дверей общежития стоят эти пары отведённый им на свидание «комендантский час» до запираения дверей и вынужденной правилами общежития нежеланной разлуки на целые сутки, до следующей встречи у проходной...

Редактор не читал, заместитель понадеялся на ответственного секретаря, ответственный — на заведующего отделом, и очерк с лёгкими правками корректора был напечатан на третьей полосе партийной газеты «Текстильный край».

Конечно, никакого взрыва в читающих массах не было. Всё в очерке знакомо, обыденно, правдиво. Полубоуались на красавицу Дашу Пичугину. Мужики-женолюбцы подумали: «Хороша Даша, да не наша!» Завистливые бабы капнули ядом: «Знаем, каким местом славу зарабатывает». Отложили газету и забыли — завтра о других напечатают.

С этого очерка жизнь Елагина из накатанной и плавной превратилась в извилистый, местами остроугольный зигзаг.

### 3

Ответственный редактор Дольской районной редакции радиовещания Арсений Широков спал у себя в кабинете на полу, на мягком пыльном искусственном ковре. Сморили Арсения необычайная сентябрьская жара и портвейн, две бутылки которого он уgomонил с утра. Лежал Арсений хитро: припёр вытянутой ногой дверь в кабинет, чтобы, толкнув её, вернувшись с обеда машинистка сразу разбудила его.

Снился ему кошмарный сон: будто он с Преподобенской колокольни сикал на площадь перед зданием райкома партии и похабно смеялся. Внизу по площади шли люди с флагами и транспарантами, они грозили Арсению кулаками, а ему было стыдно и весело. Он понимал, что завтра его вызовет первый секретарь райкома — мужик желчный и крутой, с испи-

тым лицом и звездой Героя Социалистического Труда на пиджаке.

Дальше снится Широкову, что он стоит в кабинете перед тем самым первым секретарём райкома. Вместо того чтобы испугаться, Арсений ковбойским движением руки вдруг распахнул ширинку и стал дудонить на ковёр перед столом. Секретарь райкома не удивился, не закричал, а как-то даже смутился, конфузливо отвернулся, потом прошёл в угол и, подмигнув Арсению, стал мочиться в урну для бумаги. Ощутив поддержку, Широков пустил струю на полную мощь...

Кто-то стал дёргать его за ногу, сбивая наслаждение. Пронзительный голос машинистки, по совместительству — секретаря и бухгалтера Тани Сергеевны, худошавой вспльщивой женщины средних лет, вытолкнул Арсения из сна.

— Опять опоролся! — кричала она. — Не держится! Где передача? Что печатать? Скоро дикторы придут! Вставай, проститут! — получилось в рифму.

Может быть, этот рифмованный подхлёт и вздёрнул Арсения на нетвёрдые ноги. Он схватился руками за письменный стол, чувствуя в штанах мокрую неуютность, глянул искоса на большое, ещё тёплое пятно на ковре, перевёл неосмысленный взгляд на Таню и протянул кобелиным неразлаянным клёкотом:

— Но-но-но...

— Что — «но-но»! — усилила крик Таня Сергеевна. — Нового человека взяли, сейчас придёт, а ты обоссанный! Руководитель! В райкоме узнают...

Упоминание райкома и нового человека привели мозги Арсения в рабочее состояние. Он сел за стол, пригладил густые седые волосы и сказал строгим голосом:

— Не кричи, а то уволю!

Лучше бы он этого не говорил: Таня Сергеевна будто ждала ту фразу. В ней стал подниматься настоящий ураган, процесс пошёл с ног: она перетаптывалась по коврику, словно примеривалась, можно ли с одного толчка прыгнуть на стол Арсения. Внятно было произнесено только:

— Ах ты, курва седая! Я те — «уволю»!

А дальше на высокой ноте сплошной текст, в котором однобоко проступала питейно-разгульная биография Арсения. Остановить этот

монолог не было никакой возможности. Это всё равно что шагнуть в мутный, слизистый разлив Ильинского оврага весной, когда несутся в ошарашенную от многоводья реку ветки, щепки, доски и просто всякая дрянь, которую бросают на склоны оврага бережные жители.

Впрочем, Арсений и не пытался остановить Таню Сергеевну. Он выпрямлялся за столом, водил плечами, покачивал головой, покусывал и лизал губы, потом начинал посмеиваться тихим хрюкающим смехом и, как это часто бывало, заглашал стихию Тани Сергеевны единственной фразой:

— Я всегда говорю: тебе надо мужика — не бeсилась бы!

В такие моменты Таня Сергеевна всегда замирала, огни в её глазах гасли, затягивались слезами и она, неестественно прямо держа голову, быстро выходила из кабинета. При этом она с такой силой хлопала дверью, что падала на пол крышка от стеклянного графина, который стоял на металлическом сейфе около двери.

Таня Сергеевна с Арсением были одногодки, знали друг друга с детства и в общении не церемонились. К тому же она не была замужем и всех мужчин называла \*\*\*\*\*нами. Хотя в глубине своего вспльчивого сердца хранила образ белокурого паренька Мишки Овсянкина, с которым единственный раз целовалась июньской ночью в монастырском саду. Точнее — он завлёл её туда и по-взрослому, затягивая мокрым ртом губы, настырно сопя, поцеловал. Таня не сразу оттолкнула его, а только тогда, когда он стал наваливаться на неё, подламывая со спины расщеперенными ладонями, — опомнилась, скользнула в сторону. Мишка провалился вперёд, едва не ткнувшись лицом в старую коряжливую яблоню, у которой они стояли. Таня нарочито громко заревела, вытирая губы ладонями, плевалась, показывая, как ей противен его поцелуй, хотя никакого отвращения не испытывала, а саму это ещё больше злило.

Прибжав домой, заплаканная, она всё рассказала матери, по скоротечной злобе придумала и то, чего не было.

Мать Тани — Елизавета Васильевна по проз-

вищу Грохало — утром следующего дня суеливо двигалась по улице городка, разогревая себя разговорами с прохожими. Каждый встреченный уносил с собой для дальнейшего размножения новость: Мишка Овсянкин, этот отличник учёбы и скромник, едва не ссильничал дочку Елизаветы Васильевны, девушку бойкую, с характером.

Стояло первое послевоенное лето. Солнце, заливая городок с начала июня, прокалило огороды, сады, улицы, припеклось к серо-красным монастырским стенам. После проливных дождей с грозами, напитавшими землю и сделавшими её рыхлой и воздушной, после теплых ночей, укутывавших огороды и сады, настала на земле июльская густоспель. Нечасто такая благодать случается в наших местах.

В изумрудно-тёплом утре Елизавета Васильевна разносила по городку чёрную придумку своей дочери.

Обида ли гнала женщину к дому Овсянкина или зависть? Василий Овсянкин хоть и с перебитой ногой, а вернулся с фронта. Её же разлюбивый супруг, молчаливый ласковый Сергуня, пропал без вести в первый год войны. Два года не было от него известий, а потом пошли письма-треугольники каждый месяц аж до самой Победы. Снова пропал муж где-то в Румынии. Доползла до Елизаветы дурно пахнущая, словно болотная вода, весть — зацепился её Сергуня где-то в Молдавии. И не просто зацепился, а прихватила его черноокая молдаванка: болтливая, разбитная и вздорная.

Василий Овсянкин, рыжеволосый круглолицый мужик, вытянув перебитую в коленке ногу, в одном только мятом галифе сидел на лавочке во дворе дома и наблюдал за стаей воробьев, которые металась над садами, высматривая место для налёта. Василий приготовил трещотку на длинной жерди для отражения воробьиной атаки.

— Обучил сынка! — едва открыв калитку, закричала Елизавета Васильевна. — По Германиям, что ли, насобирал! Где он у тебя, охвостыш?! Я ему сейчас нюхалку-то натру!

Василий, не теряя взглядом воробьиную стаю, спросил удивлённо:

— Ты об чём это, Лиза?

Елизавета Васильевна уже отретпетированно,

как очередному слушателю, а не отцу, рассказала, как его «пащенко» забирался под платье её дочери.

Василий вскакнул со скамейки на здоровую ногу, забыв про воробьёв, напряженно вслушивался в слова Елизаветы, а когда она закончила, спросил:

— Не пойму, зачем Мишка-то ей под платье залезал?

Елизавета закачала головой, крикнула:

— Ты дурака-то не разыгрывай! Слово не знаешь, зачем бабам под платье лазают!

Василий — не зря в парнях озорник был — сказал повеселевшим голосом:

— А я с Германии своих баб и не щупал. У немки исподняя шелковая, рука так и юзит... А здесь давно не... Дать-ко я к тебе слажу, может, клочок мха урву — в сарае вон дыру заткнуть! — он пружинисто двинулся к Елизавете.

— Ай! — пугнулась она. Суетливо повернулась к калитке, но тугая щеколда захлопнулась и не открывалась.

— Попалась, курица! — злоредно подпускал страху Василий, неторопливо приближаясь к Елизавете.

— Да что ты, Василий, чай люди, соседи... — зачастила пришибленная Елизавета. — Окстись, жена у тебя... я, может, вгорячах, извиняй, коли... — застыла взглядом на шершавых, заусенистых ладонях Василия.

А он уж тянул руку к её плечу.

— Нуткоть, ворона, — подвинул враз обезножившую женщину в сторону. Скинул щеколду с крючка. — Иди уж... Не делал мой Мишка дурного. Только хорошее о твоей говорил. Он с утра на лесозаготовках с комсомолией, а приедет — я ему мозги продую: хороша, видать, у тебя семечка! — это он о Татьяне.

Елизавета выбежала на дорогу. С безопасного расстояния закричала дрожливym голосом:

— Развратники! Я вас ославлю на весь город!

— Беги славь! — откликнулся Василий. — То тебя не знают! — и захлопнул калитку.

А Елизавета в каком-то непонятном для неё горько-сладостном напряжении спешила домой к дочери.

Татьяна на белые верёвочки крутила кудри на макушке для увеличения своего малого, как ей казалось, роста.

— Всё-таки оговорила парня, стерва! — выдала с порога Елизавета.

— А он чего целовался... — равнодушно отозвалась дочь. — Я его не просила, — она повернулась к матери и улыбнулась какой-то незнакомой отвратительной улыбкой.

— Ах ты!.. — Елизавета схватила рукой верёвочные бигуди на голове дочери и с силой дёрнула.

Ей показалось, что она вырвала клочок волос из головы Татьяны. В испуге разжала ладонь — скомкались в ней верёвочки. И тут Елизавета заметила своё отражение в трёхстворчатом зеркале на комод: нестарое ещё лицо, белая кожа, черные волосы, большие глаза, в которых испуг и тоска. Она вспомнила шершавые загорелые руки Василия, его прокалённые солнцем щёки и... словно ощутила поцелуй его сына Мишки на губах своей дочери. Почувствовав себя женщиной, Елизавета вдруг увидела себя со стороны — крикливую, вздорную. Ослабев, она опустилась на половички рядом с плачущей дочерью и сама завывала отчаянным бабьим рёвом.

С того дня Мишка Овсянкин Татьяны стал избегать. А на следующий год он сдал экзамены в московский институт и уехал жить другой жизнью.

Выплакав в коридоре редакции обиду на Широгорова, Таня Сергеевна вернулась в кабинет, заложила в старую, списанную из райкома партии машинку листок и привычно отбила титульный лист не готовой ещё передачи: «Муз. заставка. Говорит Дольск. Сегодня в нашей программе». Потом Таня выключила машинку: ни программы, ни текста забуддыжный Арсений не сочинил. А новый работник — редактор городского отдела в редакции ещё не появился.

#### 4

Богомол шифровал часть своей речи сочетанием «это самое»: «Я опоздал на работу на пять минут, а мне бригадир... это самое... Я объясняю: авария на рельсах, трамвай замкнуло. Он — опять... это самое... Ну, я не сдержался и сказанул... это самое... Дешёвая, говорю, ты повидла! Он... это самое... и турнул меня из бригады!»

Богомол — сухой мужик с длинной шеей,

длинными руками и таким же туловищем. У него было тонкое, в продольных морщинах лицо, широкие желтые зубы и грустные, как у заезженного мерина, глаза. Он попал в бригаду грузчиков случайно. «Недокомплект» получился из-за Шакарова — толстого, неповоротливого татарина, который постоянно получал травмы из-за своей нерасторопности при разгрузке вагонов. То ящик с сыром придавит ему ногу, то тяжелая картонная коробка с поэтической этикеткой «Синекорый палтус» вдруг распадется и мороженая рыбная плита юзанет по небритой роже. Остаток смены Шакаров будет лежать в подсобке на деревянной скамейке и при появлении людей жалостно стонать, прикладывая к распухшему лицу мокрое полотенце.

На этот раз вывела Шакарова из бригадного строя замороженная говяжья полутуша. Вагон-холодильник бригада разгружала вшестером. Один, для упора отставив ногу, дёргал тушу на себя, брал её на грудь, второй грузчик подхватывал тяжёлый огузок, и они вдвоём несли примерно стокилограммовый кус говядины на тележку. Двое других грузчиков толкали её в грузовой лифт, поднимались в морозильную камеру и здесь разгружали. Шакаров в вагоне принимал туши на грудь. Его напарник дядя Яша подхватывал второй конец ополовиненного быка, и они, напыжившись и махаясь, волокли его на тележку.

Очередное полутуше было тяжелее других.

— Бычище! — просипел дядя Яша, напугав, видимо, Шакарова.

Тот напрягся, решив не отставлять ногу для упора, выпятил грудь, стал дёргать тушу на себя. Полубык обрушился на Шакарова, опрокинул его на спину, округлым передним мослом пришиб его ладонь к вагонному полу. Дядя Яша держал бычью ляжку, не давая туше всем весом придавить напарника, и стонал:

— Мужики-ики-и-и!

От тележки подбежали Зачёсов с Тлэй, свернули тушу с Шакарова. Из его ладони хлестала кровь. Он вскочил, второй рукой пережал покалеченную кисть и закричал непонятное:

— С-сать надо!

— В медпункт давай! — не понимая его, засуетились мужики.

— Ссыте! — снова закричал Шакаров.

— Да я пустой, — удивлённо сказал один.

— Кто хочет?! Надо мне! — не унимался Шакаров.

— Я могу, — недоумённо признался дядя Яша. — Только зачем?

— Кровь глушить! — на взрыде, с обидой на бестолковых мужиков вопил Шакаров. — Ждать нельзя, руку загубите!

Дядя Яша стал судорожно рыться в ширинке тёплых стёганных штанов, наконец нашупал «прибор». Сжав его большим и указательным пальцами, прицелился в ладонь Шакарова, но струи не получилось. Слово из огородного шланга с распылителем на конце, окатил дядя Яша руку Шакарова возле локтя, только после матерного окрика и обзывания «бешеной коровой» вылил остатки «лекарственного снадобья» куда требовалось.

— Я снайпер, что ли! — оправдывался дядя Яша.

После этой процедуры ладонь Шакарова замотали носовыми платками и увели его в медпункт. Медсестра, морщась, пинцетом сбросила мокрые тряпки, обработала рану, забинтовала. Попутно ругнулась на мужиков, назвав их дикарями, и посоветовала в следующий раз сходить на рану по-большому.

Шакаров, как травмированный на производстве, ушёл на больничный за сто процентов оплаты, а в бригаду прислали Богомола. Позвонили от начальника холодильного цеха, сказали: придёт — выдайте спецовку и введите в курс дела.

Они быстро скорешились: Богомол, Витька Зачёсов и Гена по прозвищу Тля — узенький, жилистый, чернокудрый. У него постоянно лоснились волосы и лицо. Даже после душа Гена оставался лоснящимся. Видимо, поэтому его и обозвали Тля. Все они были «у хозяина» — сидели большие сроки и, естественно, сошлись по интересам и образу жизни.

Утренняя трудовая жизнь у мужиков началась задолго до официального часа. Они первыми приходили в бытовку и заваривали чифирь: большую пачку грузинского чая на литр воды. По очереди просасывали сквозь зубы чёрную жижу. Краснели и возбуждались. К началу работы в их телах уже блуждала сила. Они шли в вагоны и часа два самозабвенно таскали ящики, мешки, туши, коробки. По-

том их сила затухала, движения замедлялись, груз падал из рук, ноги запинаясь за вагонный настил, они толкали напарников в спины и, если бы не объявлялся перекур, начали бы падать от окончательной потери сил.

Тогда мужики плелись в бытовку, совали в банку с чифирем коричневый кипятыльник и, замерев взглядами на литровой посудине, ждали. Банка начинала гудеть от нутряного раскала, маслянистая жижа вздувалась пузырями: чифирь восстанавливался до потребительского уровня. И снова мелкие глотки возвращали ушедшую силу мужиков. Так три подхода в день.

Обеды были в бригаде тоже своеобразные. Витька Зачёсов, работающий обычно в холодильной камере с тушами, приносил в бытовку и вываливал на деревянный стол куски мороженого сала, которые он срезал со свиных туш. Там же стояли две тарелки с крупной солью. Грузчики вынимали ножи, чесночные и луковые головки, хлеб. Несуетно резали сало тонкими полосками, макали их в соль, заедали чесноком и луком.

Когда бригада разгружала вагоны ночью, кашеварил обычно дядя Яша. Зачёсов с Тлёй приносили свиные мостолыги и говяжьи грудные вырезы — длинные шматы бескостного мяса с кончиками реберных хрящей. В ведерной кастрюле дядя Яша кипятил воду, солил её, скидывал туда порезанный лук, лавровый лист и загружал мясо. Запах вылезал из бытовки, поднимался по ступенькам на перрон, где ухала железным трапом, скрипела деревянной тарой, искрилась контактами электропогрузчиков, сморкалась и материлась работа.

Кладовщицы в стеганых фуфайках с журналами в руках, записывая количество разгружаемого товара, говорили иногда мужикам: «Опять мясо, хоть бы рыбки сварили!» Варили и рыбу. Грузчики из рыбного холодильника приносили дяде Яше плиты того же синекорого палтуса. Он разбивал их молотком и вместе с остринами льда закладывал в кастрюлю.

Часто от переvara синекорый палтус расплзался, превращался в жёлтый жирный кисель, в котором ошмотьями плавала тёмная рыба шкура, наколотая на острые хребтовые кости. «Ушица...» — виновато говорил дядя Яша, улыбаясь железными зубами. «Проспал, повар хренов!» — ругали его мужики, но делать нече-

го, брали большие алюминиевые кружки, черпали рыбную жижу и ели с хлебом. Так что для рыбного обеда лучше всего подходили морской окунь и треска: они не разваривались.

На ночной обед приходили и кладовщицы со своими кастрюльками. Им давали длинную двузубую вилку с насечками, словно острога. Кладовщицы выскивали в мясном вареве говяжьи полосы, наколов и скольцевав их в кастрюльках, уходили перекусить в свою бытовку. Иногда возвращались за добавкой — уж больно вкусным вышло мясо. Мужики начинали похабно шутить про то, что может случиться от мясной еды. Кладовщицы не менее похабно отшучивались, подвергая сомнению мужские достоинства грузчиков. В таких незлобных смешках проходили полуночные обеды.

В первую ночную смену Богомол объелся мясом. Он съел мостолыгу с четвертинкой хлеба, высосал из трубчатой кости мозг, остатки выколлотил о железную ложку. Посидев и послушав своё нутро, отрыгнул сдержанно, потом поглядел на жующих мужиков, нырнул двузубой вилкой в котёл, вышупал на дне говяжий срез и по стенке выволок добычу на тарелку. Ел уже без хлеба, полным ртом, по-звериному не смыкая губ, слегка закидывая голову.

Витька Зачёсов незаметно толкнул дядю Яшу, показал глазами на Богомола.

— Прокалывать не пришлось бы, как корову на свежем клевере, — негромко сказал дядя Яша.

Мужики поняли и хохотнули.

Богомол повернул голову на смех, но подвоха не усмотрел. Съел он говяжьёю пластину, выпил через край тарелки золотистый отвар и откинулся на спинку деревянной лавки.

— Ешь — потей, работай — зябни, а потом ещё дерябни! — сказал Тля, вытирая лицо многослойной марлевой протиркой.

Он выбирал марлю в мешках с ветошью, которую привозили с текстильного комбината для уборки в морозильных камерах.

— У вас всегда по ночам... это самое? — спросил Богомол у Зачёсова.

— А ты молчи и сыт будешь, — сказал Витька.

— Да я... это самое... — понял, что всегда, Богомол.

— Вот и ладненько, — свернул разговор Зачё-

сов, пояснив напоследок: — В дневную смену нельзя: начальство запах учует!

После ночного обеда разгружали сорокадвухтонный вагон с двадцатикилограммовыми коробками сливочного масла. Через час работы Богомол стал поглядывать на открытую перронную дверь, ведущую в подсобку. После того как бригадир Валька Гусев, отвозивший на погрузчике поддоны с коробочными пирамидами в морозильник, сходил по нужде (это видно по подтянутым под грудь штанам робы), Богомол стал суетиться. Наконец буркнул:

— Не могу, это самое... — и зашустрил в подсобку.

Вернулся он минут через двадцать, встревоженный какой-то тайной думой. Выдернул из ряда первую коробку, бросил её и побежал снова в подсобку.

— Мясо в котле доешь! — крикнул ему дядя Яша.

Во второй половине ночи поставили под разгрузку сорокатонник с говядиной. Едва раздёрнули двери вагона и коричневым гляncем сверкнули в прожекторном свете мускулистые туши, словно фантастические животные, сцепившиеся в узкой норе, едва морозно потянуло сладковатым запахом мяса, Богомол побледнел, заикал, отбежал к краю перрона, нагнулся. С мучительным стоном из него выхлестнул мясной фарш.

— Что с ним? — тревожно спросила кладовщица. — Заболел?

— Он сегодня... как его... вегетарианцем стал! — звонко сказал дядя Яша.

— Окочурится, а мне — отвечай, — недовольно продолжала кладовщица. — Эй, ты чего? Может, скорую? — крикнула она Богомолу.

— И-и-эх-у-у! — тужился Богомол, мотая головой и сошвыривая с губ тягучие слюни.

— Обожрался мясом, — успокоил кладовщицу Зачёсов. — Проблюется — целкой станет...

— Тьфу на твой язык! — огрызнулась кладовщица на Зачёсова. — Пусть в бытовку идёт, а то весь перрон загадит!

Остаток ночи Богомол провёл в бытовке. После этого случая Богомол с месяц не ел мясо, потом потихоньку втянулся, но под контрольными взглядами мужиков поглощал разумные порции.

Елагин начал разгружать вагоны на хладокомбинате со студенческих лет. Приходил с друзьями в свободные от учёбы дни. Им давали вагон на четверых. Разгружали его за два часа. Если были силы и настроение — делали и второй вагон. Восемьдесят рублей на четверых, двадцать рублей на человека — половина студенческой стипендии за полдня работы. После увольнения из газеты он сразу пришёл на хладокомбинат, и его без лишних разговоров зачислили в бригаду.

Потом, спустя годы, вспоминая, как же он оказался в этом старинном городке Дольске, что первый произнёс его название, Елагин непременно натёкался памятью на Богомола.

Конечно, Елагин знал, что в этом городке много церквей, доехать до него можно за два часа на автобусе по клочкастой (асфальт, грунтовка, щебень, асфальт) дороге, с обязательной вскидистой тряской на буграх и яминах, частыми остановками при виде поднятой на обочине руки. Придорожные торговцы стояли с корзинами грибов и ягод, вёдрами яблок и всего, что произрастало и готовилось к продаже в прижавшихся к дороге лесах и неровными наростами вжившихся в эти леса деревнях и сёлах.

Богомол с редкой протяжной задушевностью в голосе рассказывал о родном городке.

— У нас, это самое, — говорил он, — свой молокозаводик есть. Братан по заготовкам там работал. С утра придёт — ему пол-литровую кружку сливок наливают. Он её — ха... это самое... и весь день — по сёлам. Вечером опять — ха... сметаны, и морда — хоть спички зажигай! А сейчас в магазинах — разве молоко? Обрат из порошка...

— Не опился он сливками-то в первый день? — спросил дядя Яша. — Наверно, ведро выпил...

Мужики хохотнули:

— Поди, освистал весь заводик!

Богомол не обиделся:

— Он у меня только на молоке и живёт... это самое. Ничего не надо, лишь бы молоко было. Трёхлитровую банку за раз высасывает!

— Чего ж ты к брату не едешь? — спрашивали мужики. — Город, по твоим словам, хороший, а ты здесь горбатишься?

Богомол задумывался, словно сам себя спрашивал: а действительно, чего это я не там, а здесь? А потом отвечал громко и безнадежно:

— Да кому я там нужен с моей-то биографией!

Слушая разговор мужиков, часто вставлял: «А у нас в городе это так делали...», «А у нас речка — на метр все камушки на дне видно, летом на мостки раки выползают...», «А у нас... это самое...»

— Каждому своя сопля солонее, — отвечал на эти похваления Богомола дядя Яша.

В получку Богомол с мужиками выпивал, после второго стакана делался каким-то разварившимся, мягким, как рыба в котле у дяди Яши. Он улыбался, подергивая шеей, глядел на мужиков, словно хотел сказать каждому что-то хорошее, ласковое. А потом Богомол запевал. Песни у него начинались с одной строки: «До свиданья, белый город, с огоньками на весу...» Он так неожиданно и задумчиво начинал, что мужики на миг переставали говорить и сдержанно глядели на Богомола. Кто знал слова, подпевали эту таёжную песню про сибирскую речку Бирюсу. Каждый представлял свою речку, и куплета два пели в лад, а потом голоса поочередно выпадали из хора: до конца песню знали немногие, и тогда Богомол пел один. Дыхания на долгую протяжку у него не хватало, и часто песенная строчка обламывалась где-то на середине, Богомол сипло хватал ртом воздух и подхватывал проглоченный конец: «Трево-ожная кра-аса!» Голос у него был густой, в ноты он попадал, и потому мужики терпели две-три песни. Где-то на четвёртую запевку Богомола Зачёсов возмущенно говорил:

— Ну, ты это... не наглей, Робертино Лоретти... не в театре, дай людям побазарить!

Богомол замолкал, высасывал придвинутый ему по очереди стакан и глядел куда-то в сторону, мимо мужиков.

Часто Елагин провожал набравшегося Богомола. Тот нёс невнятицу, выкрикивал куски песен, клялся в дружбе. Иногда на короткие отрезки Богомол выпадал в реальность, глаза его осмысливались, он останавливался и говорил Елагину:

— Беги, Серёга, беги, пока молодой, это не жизнь!

Однажды, побледнев до синевы, выложил совсем непонятное:

— Я... это самое, не Богомол... У меня другая фамилия! Я — Дергоусов!

— Хорошо, что не Наполеон, а то в дурку запрут, — пошутил Елагин.

— Ты не понял! — зашептал Богомол. — Я тебе не чернуху, а правду... У меня отец от Сталина бегал...

— Ну и что, догнал вождь отца? — чтобы свести этот трёп к шутке, спросил Елагин.

— Да ты... это самое, не веришь, — обиделся Богомол. — А ещё в газете работал! Ты послушай! Мой папаша после революции торговал, у него в Дольске лавка была, его за это хотели к стенке прилепить, а он мотанул из-под конвоя: в городке-то... это самое, все дыры знал. И сюда, к родной тетке, она по мужу — Богомолова. Муж её в снабжении работал. Он и сделал документы отцу, и я родился Богомолым... До свиданья, белый город, с огоньками на весу... — хрипнул в конце своего признания Богомол.

На следующий день протрезвевший Богомол, глотнув чифиря, сказал Елагину:

— Ты не... это самое... про фамилию, а то опять закроют...

— Да я и забыл уже, — отмахнулся Елагин.

Он действительно пропустил мимо ушей болтовню Богомола. Если помнить всё, что сливали грузчики с пьяных языков, то, как говорил дядя Яша, «это ж ни одна нормальная голова такого бреда не вынесет».

## 5

История районного радио уходит в начало 1960-х годов. Если идти по узкому руслу этого ручья, именуемого местное радио, то можно не найти истока в неразберихе районных буден, когда объединялись области, укрупнялись районы, когда руководящие и направляющие органы, а вместе с ними и хозяйственные начальники переезжали из одного поселения в другое, а следовательно, и названия районных центров менялись. Так вот, сверху, с горних высот, общегосударственным голосом было высказано пожелание: развивать средства массовой информации, разнообразить виды и способы доведения идей и решений партии до широких рабоче-крестьянских масс. Известно, что лёгкое дуновение с тех заоблачных высот на места, то есть в реальную низовую жизнь, превращается в прохватистый сквозняк с рёвом и гулом. Органы

пропаганды и агитации обкомов и райкомов партии начали усиленно работать, и в результате Дольское районное радио, размещённое в тесной комнатухе узла связи, вышло в эфир.

Для жителей района это было событие! Накануне в трёх номерах местной газеты «Колхозный клич» сообщалось о времени включения радио и была напечатана фотография натужно улыбающегося инструктора райкома партии, назначенного ответственным редактором радио.

Инструктор отдела пропаганды и агитации райкома был вызван первым секретарём, и тот торжественно объявил ему, что-де посылает тебя партия на важный участок работы — информировать районные массы о достижениях и недостатках. «Человек ты, судя по анкете, грамотный, энергичный — вот и давай действуй. Будешь ты пока ответственным редактором, корреспондентом и диктором...»

Инструктор от такой свалившейся на него ответственности мгновенно вспотел. Из жара его бросило в холод, он ворохнул сухим, словно пряник, языком:

— Почему я?

Первый секретарь, человек сельскохозяйственного образования, недипломатичный, озлобившись от непонимания, спросил язвительно:

— А кого ты порекомендуешь? Катю Кукину или этого... штанами трясёт... Парцевского? У Кати голос мужика, а у Парцевского — бабы, им бы поменяться, да поздно! Вот и весь ваш отдел. Так что не кобенясь — доверие тебе!

— Да я... только, боюсь, не справлюсь, — вильнул инструктор.

Вспотевший лоб инструктора смягчил первого.

— На вот, вытрись, — он протянул листок серой писчей бумаги. — И не трясись — поможем!

«Вы поможете! — стрекнуло в опаренной голове инструктора. — При первом проколе — куда-нибудь в колхоз...» Инструктор знал: из парторга колхоза в инструкторы райкома — это рост, а наоборот — опала. Должность на радио он не знал, как и оценить, потому терзался.

Инструктора послали на месячную учебу в областной радиокomitee. Там он ещё больше опечалился, потому что понял: так, как они, он никогда не сможет работать. Ему посоветовали го-

товить передачи заранее, писать информации и читать их в эфир, а выступающих записывать на магнитофон и вводить в передачи по программе.

Первая передача получилась как первый блин...

Секретарь райкома по идеологии привычным трибунным голосом поздравил слушателей с началом работы радио. Минут десять он говорил о достижениях района в производстве зерна, молока и мяса. Называл передовые колхозы и совхозы, победителей социалистического соревнования. Во второй части выступления стал запинаться, крякать от сухого горла, попросил воды, что тоже транслировалось на весь район. Те, кто был у радиоприёмников, слушали алчные глотки секретаря, его напившееся «уф-ф!». Многим слушателям захотелось пить от этого смачного водопития. Секретарь продолжал чтение и рассказал о задачах и свершениях, которые предстоит осуществить труженикам района в текущей пятилетке. Закончил свой монолог словами: «Ну вот, кажется, и всё...» В приёмнике скрипнуло, звякнуло, скоркнуло, и ведущий передачу инструктор райкома провозгласил дрожащим от долгих репетиций голосом:

— У нашего микрофона выступал... А сейчас переходим к районным новостям... — и стал торопливо, монотонно читать о том, в каком хозяйстве сколько надоили молока, заготовили кормов, вывезли навоза, кто в социалистическом соревновании победил и что за это получил.

А ещё он читал о строительстве коровников и свиноферм, выступлениях агитбригад и работе домов культуры в уборочный период. В первой части передачи инструктор акал — проносил: «карова», «малако», «калхоз». Во второй части забылся и стал привычно окать, а когда он сказал: «Заготовили тридцать центнеров навоза и вывезли на поля двести центнеров зерна! Конечно, это было достигнуто благодаря самоотверженной работе тружеников хозяйства!» — заведующая отделом пропаганды и агитации райкома дрожащими руками достала валидол.

Первый секретарь тоже слушал передачу у себя в кабинете. Как только инструктор закончил вещание словами: «До новых встреч в эфире!» — он пригласил второго, заведующую отделом и новоиспеченного редактора к себе.

Инструктор предчувствовал разнос. Он старался не глядеть на первого, опускал глаза. Но первый улыбался и даже с какой-то молодой задоринкой поздравил приглашённых с началом работы радио.

— Слушал, слушал! — сказал он. — И даже как бы впервые узнал, что наш район много и хорошо работает. И люди узнали. Так что с почином вас, товарищи, дерзайте, поможем! Маленькое замечание тебе, — обратился он к ответственному редактору: — Не путай заготовку зерна с навозом. И давайте навоз называть как-то по-другому, а то неудобно даже...

— Органические удобрения, — быстро подсказала Екатерина Кукина, имевшая педагогическое образование.

— Вот-вот, органика! — утвердил первый. — Вы, Екатерина Ивановна, помогайте, подсказывайте радистам! В добрый путь, товарищи! — завершил встречу первый и всем пожал руки.

И районное радио, питаемое соками партийной жизни, стало развиваться.

Из узла связи переселили редакцию в центр городка, в четыре комнаты двухэтажного старинного здания. Здесь поставили три больших стационарных магнитофона, списанных по причине выработки ресурса из областного радиокомитета, оборудовали на два стула комнатку для дикторов. Увеличили штат. Теперь, кроме ответственного редактора, который вёл рубрики «Партийная жизнь» и «Народный контроль в действии», был ещё и редактор городского отдела — он освещал жизнь города, и корреспондент-организатор — он готовил передачи о сельской жизни.

Материалы в эфир теперь выдавали два голоса — мужской и женский. Мужской голос был уникален. Его называли дольским Левитаном. Обладателем этого голоса был директор Дома престарелых, инвалид войны Александр Александрович Тарелкин. В молодости его даже приглашали в Москву на центральное радио, но по каким-то житейским причинам у него не случилась столичная карьера.

Александр Александрович читал о весеннем севе и осенней страде, о рекордных урожаях и битве за урожай, и в его голосе, чуть приподнятом по случаю трудового напряжения, слышались отголоски этих битв местного значения.

Иногда он переигрывал и его голос преувеличивал важность сделанного тружениками села:

— Полеводы колхоза «Заря коммунизма» уже сейчас заложили основы будущего урожая, — говорил Александр Александрович, и вдруг его голос взмывал свечкой вверх и уже оттуда, примерно с высоты колокольни Преподобенского монастыря высотой семьдесят два метра, рассекло вольное пространство городка и сёл вокруг: — Они вывезли на поля рекордное количество органических удобрений! Поздравляем вас, товарищи, с трудовой победой! — последняя фраза, видимо, должна была вселять надежду в сельчан, что ещё одно такое усилие — и первый этап коммунизма — развитой социализм — будет построен окончательно.

Особенно ликовал голос Александра Александровича два дня в году: первого мая и седьмого ноября. На традиционной для больших и малых городов главной площади имени Ленина в канун праздников сооружали трибуну из деревянного каркаса и фанерных плит. На неё восходили перед демонстрацией партийные, «светские», хозяйственные и особо почитаемые районные люди с цветами гвоздики в руках и красными бантами на груди. Колонны рабочих и служащих шли мимо трибуны, кричали «ура!» и махали флажками, приветствуя высившихся над ними людей на трибуне. В свою очередь и те махали руками, но «ура!» не кричали.

В этом многолетнем обряде Александру Александровичу была отведена особая роль. Он стоял в углу трибуны перед микрофоном, шнур от которого тянулся к громкоговорителю на столбе. Перед ним на узком столике лежал сценарий демонстрации — порядок прохождения колонн. Необходимо было, едва завидев растяжку с названием предприятия, проговорить о нём текст, уложиться по времени так, чтобы приветствие: «Ура, товарищи!» — прозвучало, когда колонна проходит перед трибуной.

Голос Александра Александровича гулял по площади во всю свою мощь. Проницаемость его в переулки и закутки городка была невероятной. Сидельцы следственного изолятора и хулиганы-суточки, отбывающие казенный срок в глухом подвальном каземате местного отдела милиции, вставляли со своих жёстких лежаков и, вытянув шеи, переставали ма-

терно беседовать на злободневные темы. Они испытывали от этого волнами бьющего в их слух голоса эффект присутствия на празднике. «Не голос, а кувалда!» — выдыхал кто-нибудь из невольников.

— ...К трибуне подходит колонна трудящихся швейной фабрики! — охватывал голос жидкие ряды — человек под сорок — с флагами, портретами членов Политбюро, цветами и воздушными шариками. — В первых рядах — победители социалистического соревнования, правофланговые пятилетки! Коллектив ежемесячно перевыполняет производственный план по выпуску продукции.

Голос отсекает всякую возможность подумывать, а так ли нужна эта самая продукция фабрики: сатиновые, ситцевые и фланелевые халаты, коими завалены все магазины рабочей одежды. Голос идеализирует и фабрику — одноэтажную, вросшую в землю, с тремя тёмными пыльными цехами, и коллектив (в основном из женщин-среднелеток), который, конечно же, «самоотверженно борется за выполнение планов пятилетки».

— Ура труженикам швейной фабрики! — гипнотизирует голос многолюдье на площади.

— Ура-а-а! — с удовольствием кричат все, ожидая призыва к очередному вольному гласу.

Иногда в мощные подъёмы голос Александра Александровича резонировал, тогда из громкоговорителя вырывался тяжёлый звуковой стук. Он нёсся над головами людей так низко, что, казалось, не пригнете головы, не втянете их в плечи — снесёт их этот гул вместе с волосами, кепками, платками, шляпами. Словно реактивный самолёт идёт с ясного неба на вынужденную посадку.

Когда демонстрация заканчивалась, Тарелкин сходил с трибуны, ему жали руку и говорили слова, смысл которых был один: «Спасибо от души, порадовал!» И Александр Александрович, еще не ослабивший торжественный напряг голоса, отвечал собеседнику на всю площадь:

— На хорошие дела!.. Голоса не жалко!

Женский голос для радио нашли в народном театре городского Дома культуры. Таня Редькина обладала членораздельной дикцией, говорила звонко и задорно. Ей дали прочитать текст о работе кружков художественной само-

деятельности, записали на плёнку, соединили её голос с голосом Александра Александровича и дружно сказали: «Лучше не надо!» Теперь районные и городские новости звучали на два голоса, как на областном радио.

В отличие от Александра Александровича, человека грамотного, произносившего слова с правильным ударением, Таня Редькина часто делала ударение в словах там, где ей было удобно: «Вручены грамоты. Перевередены в новый коровник...» Очередной «мерзавчик» (так называл словесные выкидыши Редькиной корреспондент-организатор, ставший потом ответственным редактором Арсений Широгородов) случился у Тани в прямом эфире в передаче «Народный контроль в действии». Она звонкоголосо читала о рейдах народных контролеров, о выявленных нарушениях и принятых мерах, и на подъёме фразы выхлестнула в эфир: «А экскаваторщик из колхоза «Путь к коммунизму» Равиль Сафин вывел из строя десять метров электрических кабелей...»

Тане Редькиной выговаривали промахи. Она плакала и обещала бросить дикторство, но её успокаивали, советовали учиться, и она, размазывая слёзы с тушью по щекам, оправдывалась:

— Ведь я знала, как правильно, а оно, подлое, вырвалось!

По совету областных радистов передачи стали предварительно записывать на большие кассетные бобины с магнитной плёнкой и в обозначенное время выпускать запись в эфир. Это нововведение позволяло перезаписывать текст, чистить его от повторов, слов-паразитов, сокращать или дополнять. Радиожурналисты получили переносные магнитофоны под названием «Репортёр» — плоские трёхкилограммовые чемоданчики с колёсиками кассет такой же, как на больших бобинах, магнитной лентой. С этими магнитофонами выезжали в колхозы и совхозы, теперь можно было беседовать с людьми, записывать выступления на совещаниях, пленумах и конференциях.

На том этапе развития районного радио и приехал на работу в Дольск Сергей Елагин.

## 6

Елагин шагнул в полумрак большого кабинета на два стола. Седой и красный Арсений

Широгоров сидел в завитушках белого дыма, сотворённого кульком самокрутки. Он курил табак только собственного производства: сам выращивал и сушил.

Из боковой двери вышла женщина с остатками слёз на припухшем лице.

— А это наш ответственный редактор, — Таня Сергеевна это сказала Елагину с нажимом на слове «ответственный», мотнув головой на плавающее в клубах самосадного дыма Широгорова.

Елагин увидел большой мокрый подтёк на розовом ковре. «Уборщица налила», — отметил мимоходом, обходя пятно.

В кабинет влетела ещё одна сотрудница местного радио:

— Новый сотрудник, — бросила на ходу Шура Ефимовна Арсению. — Я тебе говорила о нем. Принимай, начальник! — и ушла в боковую дверь.

Арсений закашлялся, замахал руками, разволакивая дым, и открылась Елагину густоволосая седая голова с багровой окалиной похмельного жара на плотных щеках.

— Ты не слушай их, баб этих, — хриплым шёпотом заговорил Арсений. — Вздорные они, склочницы. Всё извратят, переиначат, потом выдадут такую вонь — не раздышишься! И лучше не перечь — пусть говорят, поддакивай — бабы все это любят. И вот что — я устал, заматался, один работал! Ты давай осваивайся. Вот тебе «Репортёр», пощёлкай, позаписывай, а завтра — за работу...

Арсений вынул из сейфа магнитофон, передал его Елагину.

— Я пойду... сосну часок-другой, — Арсений, воровато оглядываясь на дверь, за которой скрылась Шура Ефимовна, собрался и тихо ушёл.

Но та услышала. Раздался быстрый стук каблучков в соседней комнате. Распахнулась дверь, и женщина зло выдохнула:

— Где он?

— Ушёл отдыхать, — ответил Елагин.

— Отдыха-ать?! — на перехвате дыхания выкрикнула Шура Ефимовна. — Вот он «наотдыхал»! — она вытянула палец на мокрое пятно. — Он тут ночами «отдыхает». Жена пьяного не пускает домой, он в редакции и спит. Побежал каяться перед ней. Простит, а он похмелится и се-

годня на работу не придёт... А завтра — передача, сегодня к пяти дикторы придут!

Всё это было высказано на одной скорбно-вздорной ноте. Тут и объяснение, и осуждение, и ожидаемые неприятности. Шура Ефимовна пристально поглядела на Елагина и только сейчас осознала, что перед ней новый человек, первый день пришёл на работу, — значит, ему нужно рассказать, что и как. Женщина взяла тряпку, намочила её из графина и стала протирать стол Елагина. Потом она принесла подшивку районной газеты за последний месяц и два номера центральной «Сельской жизни».

— Ты выбирай из наших газет информашки: о надоях, летнепастбищном содержании скота, заготовке кормов — сенаж, силос... Вот тут сельское строительство, агитбригады на поля ездят. «Село моё — судьба моя» — это о людях. Если будешь о человеке каком писать, то не поленись, позвони в хозяйство, узнай, не помер ли он или в тюрьму посадили. Арсюха об одном комбайнере целый очерк из пальца высосал. Мы передавали, областное радио передало. А комбайнер этот три месяца как помер... Вот, под шапкой «О людях хороших, профессиях разных» тоже можно информашки пощипать... Ты только хвали побольше. Даже если ошибёшься — похвалишь, хоть и неправда, все молчать будут, а поругаешь — в райком звонки пойдут, и нам оттуда — щелчок по носу! — Шура Ефимовна листала подшивку, деловито сортировала тексты. Оглядев последнюю газету месяца, посоветовала: — Ты с неё и начни, она самая свежая, а я пойду из «Сельской жизни» напечатаю: Арсюха три дня назад текст отчеркнул, сам хотел передать.

Так и шло в редакции: за глаза — Арсюха, в глаза — Арсений Михайлович, но с едва заметной иронией, мол, это ты для посторонних Арсений Михайлович, а для меня окончательно и бесповоротно — Арсюха!

Елагин, как знающий дело журналист, мгновенно уловил, что от него требуется.

Шура Ефимовна положила на его стол пачку бумаги. Чистой она была только с одной стороны, на другой — напечатанные на машинке тексты прошлогодних передач. Елагин за два часа переработал около двадцати статей и репортажей, сделал из них короткие сообщения-информации. В отдалённых по времени случаях он не

называл дату, подчёркивал сам факт произошедшего, упуская фамилии, потому что понимал: нужно проверять существование людей, а времени на это нет.

Зашла Шура Ефимовна с листочками в руках:

— Вот Арсюхино творение! Он из центральных газет половину передач выковыривает.

Взяла написанное Елагиным, ушла. Застрелкота машина. Через полчаса вернулась, похвалила:

— А ты молодец! Быстро сделал, в общем, передача готова.

Зазвонил телефон на столе Арсения Михайловича. Шура Ефимовна взяла трубку:

— Редакция радио слушает! — интеллигентно назвалась — и вдруг: — А-а, это ты! Заболе-е-ел! Недопил, значит?! А ты в райком позвони, скажи о своей болезни и о том, что завтра передачи не будет! В столе передача! Неужто я в чужой стол полезу? А ты подумал о новом сотруднике?! Он — первый день, а у тебя губа отвисла, заливаешь! Придёшь? Нет уж, нюхай тебя — нанюхались, лужа вон не просыхает! Ему — трубку? А его нет, он вышел, — (о Елагине). — Короче говоря, пиши объяснительную в райком, почему сорвал передачу! — Шура Ефимовна положила трубку, села за стол Арсения. — Сейчас названивать будет!

И точно: через минуту телефон зазвонил.

— Ах, выручай! — продолжала Шура Ефимовна, словно разговор не прерывался. — Это сколько же я тебя выручать буду? Когда ты лопать-то перестанешь? — риторически вопрошала она. — Сердце болит? Ничего у тебя не болит... — она слушала пьяное бубнение Арсения Михайловича. Наконец ей это надоело. Она, верно, уже сотым повтором завершила разговор: — Ладно, в последний раз. Ещё попробуешь — всё, хоть подыхай! Мы передачу сделали. Новенький не глупей тебя! — подвела итог: — Пьяней вина начальник-то!

Вечером распахнулась дверь в редакцию, и левитановский голос расплющил тишину:

— Здра-а-авствуйте, кого не видел!

Вошёл мужчина — широкий, коренастый, загорелый, улыбчивый. Правая нога не сгибается, но ходит без палки. На коричневом костюме — орденские планки, на клетчатой рубашке — чёрный галстук. Вот он, обладатель левитановского голоса, тот самый Александр Александрович

Тарелкин. Крепкая сухая ладонь потянулась к Елагину:

— Новый сотрудник? Да-да, хорошо, будем работать!

Шура Ефимовна тут же выложила Тарелкину всё об Арсюхе. Александр Александрович качал головой и совершенно равнодушно — дело-то привычное! — говорил: «Ну что же он! Опять вот не удержался...»

Тарелкин сел за стол в дикторской и стал знакомиться с текстом передачи.

Шура Ефимовна комментировала:

— Здесь на восемнадцать минут, две минутки натянуть надо...

— Сделаем, — кивнул Александр Александрович.

Шура Ефимовна включила большие магнитофоны: на одном — плёнка, на которую ведётся запись, на другом — рабочая, с заставками и записями приглашённых на передачи.

— Теперь смотри, что и как я делаю. Потом всё объясню, — сказала она Елагину.

Завращалась бобина с плёнкой, пробили хриплые дольские куранты, Шура Ефимовна махнула рукой, Александр Александрович возгласил: «Говорит Дольск! Доброе утро, товарищи!» И стал читать написанные Елагиным информации и статью из газеты «Сельская жизнь».

Скоро Елагин научился записывать и переписывать на магнитофонах, просить дикторов растягивать текст, когда его не хватает на отведённые для передачи двадцать минут, или, наоборот, читать быстрее при избытке. Шура Ефимовна и Арсений Михайлович рассказали, где брать материалы, с какими людьми встречаться, кому позвонить и как лучше говорить с тем или иным местным начальником.

Потекли новые будни, подчиняясь писаным и неписаным законам провинции. Время замедлило свой ход, словно для того, чтобы новый человек в глубинке не спеша увидел и осознал эти новые житейские порядки, которые ему необходимо будет изучить, принять и жить дальше, сообразуясь с ними.

С тех пор давняя и недавняя история городка каждодневно и неназойливо возникала в жизни Елагина.

## 7

*«...Городок наш по всем статьям захолустный, одни церкви — поповские кущи. Попов, благодаря выявлению, осталось два, но прихвостней много. Дойдут и до них руки! Народ тёмный и несознательный. Да и отчего им просвещёнными быть, когда кругом одна религия, которая, как омут, затягивает неустойчивый народ, особенно — молодняк. Пройдите по домам, и в красных углах — одни иконы с лампадами, на стенах — картинки с усами генералами. Жители, вместо того чтобы образовываться в чужие книги, играют по вечерам в лото и карты. Многие держат тайную фигуру на советскую власть, потому что бывшие они мелкие купчишки и лавочники, торгошья и огородники. По сию пору, а нашей родной советской власти тринадцатый год пошёл, не бросают они каторжный труд на своих огородах. Ломят и торгуют для себя, и никто им пока хвост не зацепит. Погодите — и с вами разберёмся!*

*Наша безбожная ячейка бьётся с огнедышащим змеем религии вот уже два года. За это время сделали много: разобрали Смоленскую зимнюю и летнюю церкви на баню, подломили Архангельскую колокольню, сожгли пять подвод с иконами, выявили и сдали трёх попов, сейчас их перековывают на Соловках. Доказали на семь тайных врагов из купеческого сословия, которых тоже направили нужной дорогой. Провели чистку и своих рядов: каждого из ячейки обязали написать внутренние помыслы своих родителей. Из пятнадцати письма семерых направили в отдел ГПУ для дальнейших прояснений в отношении мыслей. Написавшим объявили безбожную благодарность и выделили из фонда взносов на поощряющие подарки.*

*Наша цель — крепить безбожные ряды новыми сознательными членами. И пусть приходят к нам не с голыми руками, а сделав противорелигиозное дело в семье, школе, на улице, в городе. Помните наш завет — крест как хрен: от долгого смотрения глаза ест!*

*В последующих номерах газеты наша ячейка будет рассказывать о своей работе и приглашает к сотрудничеству неверующую молодежь...»*

*Н. Савостиков, рабкор, председатель ячейки союза воинствующих безбожников. (Газета «Колхозный клич»)*

Плотников ехал в Дольск. Подвернув под себя ноги, он сидел на примятом сене на телеге, которая расшатанно прыгала на осклизлых булыжниках. На дне валялись какие-то мешки, осколки битого кирпича, постукивающие на ухабах.

Возница был под хмельком. Плотников заметил это, когда телега вывернулась с боковой дороги на шоссе за пятнадцать вёрст от городка и усушистый мелколицый мужичок с недельной седовато-рыжей щетиной, скребком торчавшей на прокалённых солнцем и хмелем щеках, задорно окликнул Плотникова:

— Далеко ли, гражданин-товарищ, идёшь?

Плотников, проехавший от губернского города на двух подводах, которые довозили его до придорожных сёл, с тем мужичком ехал, выходит, уже на третьей.

Возница завёл витиеватый, с матюжком и выкриками, разговор. Если бы не было Плотникова, верно, он говорил бы неспешному мерину то же самое, что и человеку.

— Я, гражданин-товарищ, на должности работаю. На какой — сказать не могу! Со мной даже сам Бакин ручкается, а он мужик с натурой, всем горкомхозом вертит. Хоть он ноздрю и дерёт, а я его вокруг пальца обвожу! Я сегодня за день две подводы кирпича сплавил — и при деньгах, и при харчах, — возница плутовато мигнул воспалённым глазом, ощерились жёлтые, морённые продёрнутым самосадом зубы. Пощупав взглядом Плотникова и не определив в нём опасности, мужичок всё же для страховки пояснил: — Из Смоленской церквухи кирпич бьём на нужды колхозникам...

Потом возница долго говорил о жене, бабе доглядистой и сварливой, милиционере, а теперь уполномоченном строгих органов Бутове, попе Демокритове, Кольке Савостикове — изверге рода человеческого, лавочнике Дергоусове — урезном ворюге и перерожденце. Говорил ещё о каких-то людях, которые находились в неизвестных Плотникову связях друг с другом и с возницей и жили там, впереди, в городке, где предстояло остаться работать и Плотникову.

Он уже не слушал мужичка, послеполуденная гнетущая жара сморила его, — прилёг на пыльные мешки. Возница, казалось, не заметил этого и продолжал говорить.

Вскоре стало смурнеть. Ливень собирался неспешно, размеренно: фиолетовая туча придвинулась к солнцу и занавесила его. К туче подплывали другие фиолетово-курчавые, и скоро нельзя уже было определить, где солнце. Даль была ещё зеленовато-светла, а с высоты уже нависала давящая темнота. Странно, не было ветра, и травянисто-пахучая духота спрессовалась между провисшим небом, зелёными полями и размеившейся желтой дорогой. Грызнул тишину далёкий гром. Мерин зафыркал, приободрился и без понукания зашагал быстрее.

— Держись! — крикнул мужик. — Сейчас хлынет! — он выдернул из-под себя брезентовый плащ. Плотникову же посоветовал: — Мешки — угол в угол — и на голову!

Через минуту прорвался на землю плотный тёплый ливень.

До городка, по словам возницы, оставалось около пяти вёрст. Он прекратил свою болтовню, лишь изредка выкрикивал на мерина:

— Но-о, хрящ собачий! — и подсекал его вожжами по мокрой спине.

Дольск выплыл из дождя двумя серыми покосившимися столбами заставы. Мужичок снова повеселел и выкрикивал своё отношение к тому, что было по обеим сторонам дороги:

— Ох, Бакину делов завтра будет! Завертится по городу, чай, и склады протекут, и движок заискрит! Тиша-а, — вдруг испуганно шепнул возница. — Гляди, гляди, в Рядах! Да не всей головой, а глазами ворочай — Васька Бутов в засаде...

Плотников увидел у колонны торговых рядов фигуру в таком же, как у возницы, сером упрятистом плаще до пят. Человек не двигался, было ясно, что он смотрит на телегу.

— Ишь, стоит, как свая, с неба хоть камни падай — не уйдёт, — вполголоса говорил возница. Когда проехали ряды, пояснил: — Робею, брат, перед этим человеком. А ведь то сказать, в детстве одного козла дразнили. Как он в милицейскую должность вгнездился — всё, им теперь хоть гвозди забивай, ну упрям и дотошен — спасу нет! А потом его в уполномоченные органов перевели. Вишь, должности как служит... Я хоть и знаю к нему хитрую тропку, но всё равно робею... А тебе в какие пристани? — полюбопытствовал мужичок. — Говорю, а не ведаю с кем... И куда тебя везти? В Дом колхозника?

— В музей, — ответил Плотников.

— Му-зей?.. — вмиг осевшим голосом переспросил возница, и удивлённые округлившись глаза уперлись в Плотникова: — Да ты ж по заготовкам... А гриш, в музей? Да это в Евстафьев монастырь, чай... Ведь я... — договорить не успел; мужик дёрнул вожжи, повозка завалилась в канаву.

Плотников едва не сбил возницу с телеги, ударившись головой ему в спину.

— Тиша-а! Тиша-а! — мужик двинулся, отталкивая Плотникова. — Куда прёшь, стерва косая! — закричал на мерина. — Пуп города! Вертеп — одно слово!

Потом возница показал на коричневую монастырскую стену:

— Вон твоя пункта, — покачал головой. — А ить ты новый заведующий, — сказал скорее себе, чем Плотникову. — И как я, дура, раньше-то не догадался!

— Давайте-ка я сам дойду, — сказал Плотников, которому до раздражения надоели дорога и болтовня.

— Верте-еп! — предостерегающе закричал мужичок. — Чёрт утонет, не токмо! А у тебя гамаши, чай, ещё при царе шиты...

Действительно, стоптанные, латаные-перелатанные ботинки Плотникова могли в первых же лужах расхлопаться до голых ног.

Когда телега оказалась снова на дороге, двинули к кованым воротам монастыря. Узкая дверь в правом притворе была чуть приоткрыта.

— Ну, дорогой гражданин-товарищ, вот тебе и азбука! — мужичок кивнул на ворота. — Колоти громче, там полудурки живут, а я трогаю, пока чайная не закрыта, — он сочно подмигнул сошедшему на землю Плотникову, спросил: — В сомнении я: тебе сколько годков?

— Двадцать семь, — ответил Плотников.

— Ну-у, — неопределенно покачал головой возница. — Давай, коли тогда... Народ здесь считанный — завтра и увидимся!

Возница стегнул концами вожжей грустного мерина. Тот вскинулся, пробежал несколько шагов, потом сник и так же медленно, поматывая опущенной головой, пошёл по серым бурливым лужам.

Плотников шагнул на монастырский двор. Ощущая на теле знобкую мокроту, он сразу зас-

пешил к длинному двухэтажному братскому корпусу. Кожаный, с железными дугами чемодан тёрся о ногу, сбивая шаги. Плотников не заметил натянутую над головой проволоку; увидел её, когда она загудела: вдоль двора по песочной дорожке нёсся к нему огромный серый пёс, таща за собой по проволоке цепь. Собака не лаяла, а злобно подвывала. Плотников ворохнул по сторонам глазами — спрятаться негде — и побежал назад, к входной двери. Он успел выскочить и притиснуть за собой дверь. Пёс с разбега содрогнул ворота лапами, раздался густой лай. Плотникова прихватила злоба. Сотворили её дальняя муторная дорога, ливень, мокрая одежда. Старый и единственный коричневый в полоску костюм, тщательно выглаженный в Москве, смялся, отяжелел и прилипал к телу. К тому же этот безлюдный городишко навевал безысходность и тоску, как от дурного сна... С краю дорожки Плотников выдал каблук булыжник и начал колотить в железную дверь. Собака задыхалась в непрерывном лае.

Наконец зашаркали шаги, собака заскулила.

— Буран, чтоб тебя!.. — крикнул женский голос.

Дверь открылась, выглянула женщина лет пятидесяти в сером льняном платье и накинутой на голову фуфайке, на ногах — огромные литые галоши.

— Ну? — спросила женщина, проглядывая Плотникова.

Он назвал себя.

— А вас третьего дня ждали, мой даже на станцию ездил... Сегодня хоть и проливень, а для земли — благодать. Сушь стояла, земля в пепел спеклась, и вот дождалась — вы нам из дальних краёв водички привезли...

Плотников шёл за женщиной, а она говорила добрым голосом. Собака пробежала вперёд, теперь она сидела у высокого кирпичного крыльца, ведущего в крытую длинную галерею.

Женщина ушла за ключом. Плотников стоял на галерее, собака настороженно глядела на него. Дождь усиливался, тянуло сыростью и холодом.

В просторной сводчатой комнате с двумя узкими окнами, закованными в решётки, было темно.

— ...Как его увезли, так всё и осталось. — Жен-

щина говорила о бывшем заведующем музеем: — Под утро приехали и увезли. Полгода — ни слуху ни духу. Рылись тут, всё чего-то искали, нашли не нашли, а разбросали. Я прибралась — всё на месте... — она зажгла свечу.

По стенам — шкафы с книгами, иконами, медными чашами и блюдами. На полу плотно друг к другу прижались сундуки, окованные железными полосами. Пахло пылью, ладаном, старой олифой. У окна, на резном столе, — тетради, чернильница зелёного стекла, два бронзовых подсвечника с ополовиненными свечами и керосиновая лампа. Впритык к столу — широкий кожаный диван с высокой деревянной спинкой, застеленный золочёной ризой. В углах комнаты было свалено множество церковных вещей — от кадил до разновеликих медных купелей.

Женщина прошла к столу, встряхнула керосиновую лампу — пусто. Сходила к себе, налила керосину, зажгла плоский фитиль. Приглушённым блеском засветились медь и позолота, матово заблестело серебро на окладах, ожили в багровой таинственной жизни лики на иконах.

— Вот так он здесь и жил, — сказала женщина, словно боясь назвать по имени того, о ком говорила. — Я сейчас постельную справу принесу, да одежонку твою сменить надо. Открой шкафчик — там халаты чистые висят. Я их в жару выкалила на солнце, помягче который выбери, пока костюмчик твой просушу.

Женщина принесла тяжелое лоскутное одеяло, льняную простыню, большую рыхлую подушку. Вспомнив, сходила и за кринкой, четвертинкой каравая. — Молочко вот, поужинай, — уходя, в дверях сказала: — Меня тётей Машей зови... Абрамовы мы... Керосин зря не жги — разве дело ночное... А так — свечи вон, — и ушла.

Сон был неглубокий, урывчатый. Плотников вздрагивал, в полузабытьи подтыкал одеяло, от которого пахло слежавшейся ватой. Дождь бился в крышу и стены, где-то в углу стучали в пол капли. Плотников подумал, что нужно подставить ведро, но вставать не было сил. Сквозь наплывы сна он слышал тяжелые шаги на галерее и женский крик: «Аристарх!» Снова топот, повторилось: «Аристарх!» Так крик гулял по двору, то затихая, то усиливаясь.

Засыпая, Плотников вспомнил возницу: «Полудурки живут».

«Боязно, — подумал вяло. — А у меня дверь заперта...» — и уснул. Ему снился Аристарх в облике архистратига Михаила. Он зло шипел, раскинув крылья, на ногах у него были кирзовые сапоги с широкими голенищами.

А утром рассиялось омытое ночным ливнем солнце. Уже начинало парить. Успели высохнуть листья на вязах и липах, которые росли вдоль монастырских стен. Сушилось бельё на верёвках, гуляли по двору куры, из открытой двери сарая, подпихивая друг друга мордами, выбежали два нагулистых поросёнка. Гуси и утки топтали грязь в лужах.

Снизу из-за галереи рванулся крик:

— Аристарх! Что б тебя разорвало!

Кричала тётя Маша. Она стояла посреди двора в сером истёртом жакете с ведром в руке.

На крик отворилась дверь сарая, прилепившегося к монастырской стене, и вышел мужичок в мятой фуфайке и зелёном картузе.

«Возница!» — узнал его Плотников.

— Паразит! — закричала тётя Маша. — Всю глотку изодрала, а он у мерина спит! — она подбежала к Аристарху и по-мужицки, с широким замахом ткнула его в плечо. Тот крутнулся на месте и упал в копну сена.

— Ишь, разлёгся! — высоким голосом пронимала мужа тётя Маша. — Всю поживу, чай, пропил! Вставай, шовяк дорожной...

— Налетела, ястребица... — неуверенно затянул Аристарх, поднимаясь. — Не срамись на людях, как размужичка машешься. Я ить тоже могу фасон навесить. — Он погрозил жене красноватым кулаком, но на всякий случай отшагнул за копушку сена.

— Новый начальник приехал, а ты!.. — снизила голос тётя Маша. — Какой ты завхоз и сторож, коли самого того гляди упоят да в овраг бросят!

— Начальник! — воспрянул Аристарх. — Этого начальника я вчера на себе вёз! — сважничал он. — Пойду с утряночки поручаюсь с ним, — Аристарх бодро зашагал к галерее. У крыльца вскинул голову, увидел стоявшего у перил Плотникова: — А-а, Семён Иванович, ну как почивали? — с расчётом на жену крикнул Аристарх и, поднявшись на галерею, тяжело дыша, стиснул уцепистой ладонью руку Плотникова.

Тётя Маша издали удивлённо глядела на них.

— Семён Андреевич, — с улыбкой рассматри-

вая похмельно-возбуждённое лицо Аристарха, тихо поправил Плотников.

— Извиняй, гражданин-товарищ Семён, — шёпотом сказал Аристарх. — Бабу сперначала ошарашить надо, а потом она отойдёт... Вчерась в чайной разговелись без меры... А куда денешься? Две подводы кирпича наломали с ратницкими мужиками, ну и замочка — само собой. Я на вино крепкий, а тут, посуды, без обеда. Пока кирпичи отделишь — лом изотрёшь. Ить эта церковка ну прямо как спечёна! Другие вроде пожизне были... Да и тебя вёз — зачесть надо.

— Какая церковка? — спросил Плотников.

— Каменоломня-то? А, эн, за углом. Я тебе вчерась говорил: Смоленскую по весне разбирать начали, до сих пор из неё кирпич бьём.

От Смоленской церкви остался выбитый ломами фундамент, остатки стен метровой толщины, глубокий подвал, засыпанный щебёнкой, и кованые двери, украшенные медными полушариями. Двери были вматы в землю на тележной дороге от церкви к воротам.

— Иконы и утварь из церкви где? — мрачно спросил Плотников.

— Иконки те? — сощурил плутовские глазки Аристарх. Его небритое лицо на миг смутила какая-то неясная мысль. — Иконки те мы с... — он оглянулся и продолжил шёпотом: — с Иван Михальчем волоком — да в хранилище. Ой, беда! Но... — Аристарх приободрился и уже обычным громким голосом закончил: — Но, коли враг, так уж получай! Я жалею об одном — просмотрел врага, виноват, что тут сделаешь! — он с настороженной вопросительностью глядел на Плотникова: мол, как среагирует на эти слова.

— Работал, значит, не враг был, а забрали, врагом стал? — язвительно спросил Плотников.

— А хрен их знает! — отмахнулся Аристарх. — Теперь родная мать не разберёт. Для нас-то он хороший мужик. Ежели по-нынешнему считать, дак и бывший батюшка Рафаел — враг. Теперь его разжаловали из попов, он человеком и живёт. Они все в этом монастыре остались, вон батюшкин домишко в три оконца! Люди они хорошие: не воруют, вино не пьют, матом не ругаются, как безбожник Валеулин... — Аристарха понесло.

Он говорил о жителях Коммунального городка (так называлась теперь территория мо-

настыря), — говорил сбивчиво весело: хвалил, ругал, перекинулся на свою жену, обозвал её «курдюком» и «хитрой ведьмой» и вообще посоветовал Плотникову не заводить жены, потому что корова даёт молоко, свинья — мясо, а баба — ни того ни другого, да к тому же расшатывает мужское нутро.

Плотников вполуха слушал Аристарха, а сам думал о том, что иконы всё-таки удалось спасти и надо будет сегодня же их осмотреть, сделать опись, а может, её уже сделал Иван Михайлович, значит, необходимо разобрать его бумаги.

Плотников машинально ковырнул носком ботинка горку щебня — блеснула голубая плитка. Изразец. В середине плитки — две длинноклювые птицы грудь в грудь, по краям — растительный орнамент.

— Глазурные нашлёпки, — услужливо пояснил Аристарх. — Все стены Смоленской были ими обляпаны. Перед разорением-то Иван Михайлович ахал-ахал, а не успел... Я ж опосля нацыкнул огородников Прощаевых — они за дармовщину с чёрта шкуру сдерут. Прощаев с тремя сынами — на стены, как тараканы. За два дня все плиточки ободрали. Пошли в дело — они в избе плитками печи обложили, а так бы раскололи все... Что, дельные плиточки? — спросил Аристарх.

Объяснять не было желания — Плотников бросил коротко:

— Семнадцатый век!

— Не говори только, — с ветру подхватил Аристарх. — Мохнатый тут народец, что твои серяки. В них учёность-то надо колом вбивать — умно слово сказал да по лбу и огрел, тогда, может, чего и втемяшится. Мы с Иваном Михайловичем какие только словеса перед ними не рассыпали, а за порог — и забыли: идут в горкомхоз: мол, выпиши кирпичика, церковей вон сколько! Мохнатый народец...

— Теперь без моего ведома каменоломен не устраивать, — сказал Плотников, отводя глаза в сторону, стыдясь этой словесной тяжести, потому что говорил их человеку вдвое старше себя, но смолчать не мог — должность теперь обязывала.

— Знамо дело, — охотно согласился Аристарх. — К вам и отпривечу: мол, будет ваш штемпелёк — тогда милости прошу, а нет — ворота оглобли! Вспомнил! — вдруг выкрикнул он. — Дурак — беда, в голове — вода! Вить у меня штемпелёк му-

зейный! Иван Михайлович, когда его — под белы ручки, шепнул мне: береги, мол. Я и берёг. — Аристарх застучал по карманам, сплюнул и потрусил в конюшню: — У меринка штемпелёк — само надёжно!

Круглая печать просмоленным шпагатом была привязана к дуге.

— Вместо колокольца, — чистил Аристарх. — Болтается, а не звенит, кому в голову придёт, что эта ерундовина может всяких дел натворить. — Аристарх отвязал её, потёр о рукав, дохнул на подошву и шлёпнул по строгой доске сарая. — Не клеймит, — подвёл итог. — Рассохла, надо размочить да чернилец развести, чтобы кружок пробивался. В этой печати ничего не видно. Мы с Иваном Михайловичем ей в бумагу ни разу и не колотнули...

— Аристарх! — позвала его жена.

— Баба подбирается, — обрадовался тот. — Отмякла — по голосу слышу!

Плотников пошёл осматривать музей. Печать толкалась в кармане. Недовольный её тяжестью, Плотников зажал вещицу в кулаке и вдруг ощутил желание закинуть эту свинцовую завитульку в траву, буянисто разросшуюся у монастырских стен.

## 8

**В** конце сентября, после отпусков и завершения огородных дел, в редакцию дольского радио начинали сходиться местные сочинители.

Они образовали литературный кружок под названием «Перезвон» и с наступлением зябкой погоды по пятницам собирались на посиделки.

Инструктор райкома партии был послан ведущей отделом пропаганды и агитации райкома на проверку благонадёжности этого поэтического сборища. После трёхчасового пребывания в стихотворческой стихии у него закружилась голова, его затошнило, и, рассекая густой дым, накачанный самокрутками Арсения Широгорова, папиросами «Север» Меркурия Широлесова, трубочным смрадом философа и романиста Семена Польского и парой других куряк, которые держали в зубах болгарские сигареты «Солнышко» (их не надо было подсасывать, они курились сами), вытянув руки, почти на ошупь проверяющий вывалился из дверей

редакции. Хватанув чистого воздуха, инструктор кое-как пришёл в себя.

На следующий день в кабинете Кукиной, заново ощутив в себе табачную гарь, тошноту, головную боль, он коротко доложил:

— Дурдом, но всё в рамках...

Центром этого поэтического бурления были Черпаков и Широлесов.

Широлесов был поэтом ситуации. Его стихи укладывались в одну строфу, а часто и в одну строчку. Рифмы приходили к нему неожиданно, неведомо из каких глубин и высот, и в этом заключалась его божья искра. Рифмы вырывались из матерных закоулков глубинной русской жизни, из анекдотов и хохм, из куража и скабрёзности. Часто его словесная лепка балансировала на узенькой грани приличия, — но приличия провинциального, отличающегося от столичного, узаконенного, учебного, как отличается оглобля от шпаги.

Всё, что привлекало внимание Широлесова, облекалось в рифму. Были зарифмованы даже жители улицы, на которой он жил. Через забор — сосед, многодетный Иван Кузин: «У Ивана Кузина большая кукурузина...» Через дом — Раиса Соснина, при встрече каждому скажет: «Прилегла, да и не знаю, как заснула». Стихоплёт Широлесов увековечил её строчками: «Баба Рая Соснина не очухалась от сна. Спит Раиса круглый год, изо рта слюна течет...» Дальше — Владимир Кокин, держит овец и продает шерсть на валенки. «У Володи-шерстобита морда кругла и не брита». «Пой и веселися, соловьём свисти, едет к нам комиссия, мать её яти...» — это когда жители улицы написали в горисполком: просили замостить улицу от непролазной грязи. Комиссия приезжала два раза, улицу так и не замостили. Когда пьяный электрик Вадим Якунин менял на столбе изолятор, слабо зацепившись металлическими когтями, он скользнул и повис на страховочном поясе, мёртвой хваткой облапив шершавое дерево. Штаны Вадима ослабли и обнажили белый крестец. Широлесов, наблюдавший за якунинской работой, ядовито ухмыльнулся и сочинил: «Висит Вадик на столбе, ремонтом занимается, из штанов его уде лампочкой качается!» Где бы ни появлялся Широлесов, он рифмой переиначивал увиденное.

Но самым большим увлечением его было

звёздное небо. Широлесов мог часами, закинув голову, юзить плавным взглядом по небесному тёмному полотну, и в душу вступало щемящее чувство вселенской недосыгаемости. Он никогда не достигнет этих далёких желтоватых точек! Он даже не в силах вообразить, что эти звёзды во много раз больше его земли! Читая книги по астрономии, Широлесов чувствовал, что начинает задыхаться от нахлынувшей тоски по недосыгаемому. Его словно затягивало это таинственное пространство космоса, и он возносился в его бездонность. Чувство молодого первичного счастья охватывало его, как в детстве от нырков в глубокий омут: глубже и глубже, звон колокольчиков в ушах, острый прокол ужаса — нет воздуха! Судорожное лягушечье выныривание. Напоследок выдвуд до доньшка остатки воздуха у самой поверхности воды. Бурливый пузырь лопаётся на солнце в окружении густой июльской осоки, стрекоз, слепней и лугового цветочного аромата.

Так же, как тогда, в речке, у Широлесова кончался воздух, и он срывал взгляд со звёзд, чувствуя, как колотится сердце. Захаписто дышал ночным воздухом и уже различал посторонние запахи, которых не чувствовал раньше. Но больше всего будоражил Меркурия Широлесова свет мёртвых звезд, о которых он вычитал в журнале «Знание — сила». Звезды уже нет: она взорвалась или неизвестно как сгинула, а свет от неё остался. Это не укладывалось в голове. В воображении летели кометы, астероиды, метеориты, но свет!.. Как его оформить во что-то осязаемое?

Однажды у Широлесова выплыло неведомо из каких скрытен и затаений:

*На небесье душа отпечаталась.*

*И смотрю, и люблюсь в ночи.*

*Здесь — блуждала, страдала и плакала.*

*Там — с улыбкою звёздной молчит!*

И уж не хотелось думать о гришках и таньках, рифмовать «часто — сисясто». Требовала душа взлёта и распахнутости. Хотелось мчаться в ливнях и звездопадах, дышать жадно за десятерых и плескаться на эту грязную, затоптанную, захламлённую землю что-то сине-зелёное, растворяющее тлен и затхлость, зарождающее на очищенной глади переплётку из чистой травы и лугового разноцветья.

Эти картинки клубились в голове Широлесова, воодушевляя его, а потом вдруг пропадало всё, возникала серая портянка действительности с лаем собак, истошными выкриками замордованных жизнью пьяных соседей, непонятным стуком и хлопом на дороге и речке. Поэта прихватывала тоска, сверлил душу вопрос: «Неужели это и есть настоящая жизнь, которую надо тянуть? Зачем эта серость, грязь, тоска? Неужто господь нам даровал это, а себе оставил во-он ту высокую красоту? Почему он так невзлюбил нас, людишек-паучишек?» И не находил ответа Меркурий Широлесов.

Отдушиной в его жизни были и литературные посиделки в редакции радио. Здесь Широлесов чувствовал среду, словесную фактуру, свою эталонность применительно к правде и неправде жизни. Высшей мерой поэзии и прозы в его понимании было понятие «так в жизни может или не может быть». Если Широлесов, слушая чтение собрата по перу и воображая, как это происходило бы в реальности, вдруг входил в тёмное безжизненное пространство, не видел ни лиц, ни действий, он сразу говорил:

— А это вранье, так в жизни не бывает! — и всё, больше не слушал, не вникал, а только закатывал глаза, мотал головой и цокал языком.

На литературных посиделках Черпаков и Широлесов садились как можно дальше друг от друга.

Черпаков — у открытой форточкой, которая не справлялась с очисткой воздуха в комнате. Поэтому он периодически вставал возле окна на стул, высовывал голову на улицу и сотворял дыхательную гимнастику. Проходим, кто в это время успевал глянуть на окно редакции, казалось, что из форточки высунули спелую среднеазиатскую дыню, которую в ту пору привозили на городской рынок коричневые от загара и грязи восточные люди.

После этой процедуры Черпаков кричал творческим сотоварищам:

— Прекратите курить! Вы же себя и людей травите!

На минуту выработка дыма прекращалась, но после убедительной фразы Широлесова: «А я только и пишу курия!» — дым вновь начинал впредссыпываться в стоячий воздух комнаты. Этим поэты подтверждали слова Меркурия

Широлесова: они тоже сочиняют между затяжками.

Почему-то так совпадало: когда читал свои творения Широлесов — Черпаков совал голову в форточку, а читал Черпаков — Широлесов закатывал глаза, искусственно улыбался и увеличивал количество папиросных затяжек, выдувая дым в направлении оппонента. Этим он словно говорил: «Как такую галиматью можно сочинять! И не только сочинять, но и читать её вслух!» Что делать — поэтическое соперничество самодеятельных поэтов...

Черпаков был худой жилистый мужик лет пятидесяти, с глубоко запавшими голубыми глазками, остатки рыжих волос по периметру головы паутинились на ветру. Он летом, а иногда и зимой ездил на спортивном велосипеде, круглый год купался в речке.

Широлесов написал о Черпакове такие строчки:

*Он может целыми часами  
плескаться в проруби у дна.  
И только лысина проходим порою  
из неё видна.*

Черпаков оригинально боролся с пьянством. Однажды утром, когда жители городка массово шли на работу, Черпаков залез на липу возле автобусной остановки и кричал из веток:

— Граждане! Не пейте водку! Она скотинит людей! Я выпил стакан — и вот каким дураком стал!

Подъезжал очередной автобус. Выходили из него люди — и вдруг с липы:

— Граждане!

Люди вздрагивали, закидывали головы. Испуг на лицах переходил в смех:

— Это ж Черпаков!

Так, обработав с пяток автобусов, он спускался с липы и шёл в свою комнату в многоквартирном деревянном учреждении. На двери её висела табличка «Районное общество спасения на водах — ОСВОД».

Широлесов отразил в стихах и эту деятельность Черпакова:

*Теперь работает в ОСВОДе — утопших ловит,  
А порой стихи он пишет о природе  
И прославляет город свой...*

Действительно, Черпаков писал стихи о природе. Типа таких:

*Тренькает синичка за моим окном.  
Птичка-невеличка, а в душе — подъём!  
Спорится-готовится с самого утра.  
Жить на свете хочется — на простор пора!*

Широлесов критически прошёлся по стихам Черпакова:

*Пишет вирши Черпаков,  
пишет — дурью мается.*

*Хочет пирожок испечь — г... получается!*

Они были стихотворцы-соперники и язвили друг про друга при каждом удобном и неудобном случае.

А ещё Черпаков захотел опоясать на велосипеде земной шар. Запала ему в голову эта блажь, когда он прочитал о велосипедном туристе из Америки, который совершил велопробег по Европе и вознамерился пересечь Советский Союз от Владивостока до Одессы. А мы чем хуже?

Черпаков пришёл просить содействия к первому секретарю райкома. После долгого сидения в приёмной среди десятка напряжённых и молчаливых людей, дождавшись наконец своей очереди, бодрой привскакивающей походкой вошёл он в просторный, сверкающий полированным деревом кабинет.

Первый хорошо знал Черпакова. До него доходили слухи о его чудачествах. Но чудачества эти были в границах неписаных, но дозволенных правил, коими была опутана жизнь провинции, и поэтому к Черпакову никаких мер давления не применяли. Он же не критикует партийных работников, не сравнивает жизнь «там и здесь», не слушает по ночам «голоса», не передаёт днём услышанное любопытным незрелым ушам. Хотя всё это Черпаков делал, приходя в редакцию радио, делился всем, что узнал ночью. Но до высоких районных чинов порочащие его сведения не доходили...

Из-за широкого стола недобро глянули на Черпакова серые, в прозрачной мокроте, прохвватистые глаза. На худом желтолобом лице изредка подёргивалась румяная щека; чтобы унять тик, первый широко открывал рот. Это напомнило Черпакову карпов в искусственном пруду, когда рыба в часы кормления подплывает к помосту и ждёт подачи корма. Карпы так же широко открывают провалистые рты. Вспомнив это, Черпаков улыбнулся.

Первый заметил улыбку и сделал вывод, что

посетитель пришёл с чем-то несерьёзным.

— Приветствую вас, Анатолий Максимович! Успехов вам в организаторской деятельности на благо района и всех нас! — бодро поздоровался Черпаков и продолжил: — Район и по урожайности, и по кормам на первом месте в области. Так вам и вторую звезду дадут! — он кивнул на звезду Героя Социалистического Труда на лацкане пиджака секретаря. — А интересно, Анатолий Максимович, это у вас дубликат или настоящая? Я вот читал, что многие герои для повседневной носки латунные звёзды делают. Мало ли что — и потеряешь по пьянке, и хулиганьё может сорвать...

Румянец медленно сходил с лица секретаря, словно утекала розовая водичка из бутылки в крохотную, неведомо кем сотворенную дырочку, — со лба спускалась на щёки серая бледность.

— Ну! — нехотя вытолкнул звук первый. Повторил: — Ну-у?

Черпаков понял:

— Я вот зачем пришёл... — и, комкая слова, сбиваясь и повторяясь, Черпаков рассказал о своей готовности обогнуть земной шар.

Он не заметил, как лицо секретаря дважды меняло цвет с бледного на розовый и наоборот. Тик начинал терзать щеку, словно к ней кто-то подводил проволоку с электричеством и сразу отдёргивал проводок. Первый чаще открывал рот, словно прикидывал, можно ли проглотить Черпакова за один раз. Временами у секретаря внутри срабатывала какая-то защита: голос посетителя, затихая, уплывал в сторону и вылетал в приоткрытое окно кабинета, за которым трепыхалась районная жизнь с плохими дорогами, нехваткой денег в бюджете, осенней страдой, растущей очередью на жильё и всеми другими большими и малыми заботами глубинки. Потом голос Черпакова серым слизнем вползал с улицы в кабинет, увеличивался, усиливался, ввинчивался в уши секретаря, и он слышал:

— ...Я вот посчитал — обыкновенный велосипед не подойдёт. Нужно купить импортный гоночный, с укрепленной рамой. Это рублей двести! Ну, амуниция: рюкзак, сухой паёк, деньги на дорогу, само собой — виза...

— Виза?! — вырвалось у первого.

— А как же! — подхватил Черпаков. — Загранпаспорт нужен. Без него не выпустят. К примеру, поеду я в Африку или в какой-нибудь Гондурас...

И снова защита срабатывала у секретаря. Голос Черпакова уползал в окно, его будоражащее действие затихало.

«Чертовщина какая-то! — вдруг прострелило первого. — Гондурас...»

— Какой Гондурас?! — секретарь тряхнул головой, повёл плечами.

— Дак заграница... Там и Гондурас! — попытался объяснить Черпаков.

— Ты вот что... только время отнимаешь! — стал повседневно серьёзным и собранным секретарь. — Ты в ОСВОДе работаешь — вот и работай. Много тонет у тебя?

— Да нет... — замялся Черпаков. — Показатели хорошие. Летом, если пьяные...

— Вот и делай, чтобы люди не тонули, — оборвал первый. — А то Гондурас!

— Так ведь престиж! — попытался убедить секретаря Черпаков. — Американец вон Европу объехал — и к нам на велосипеде...

— Американцы без штанов по улицам ходят, за это их «мудистами» называют... — сказал первый. — Может, и ты пойдёшь по городу пипиркой трясти? Американец! Не туда тебя воротит, Черпаков! Никаких тебе Гондурасов, понял? Я матом вслух не могу ругаться, но знай: сейчас я так матерюсь, что просто зубы ломит! Иди!

И Черпаков ушёл из райкома партии не понятым, обиженным и за себя, и за Родину.

Самому старому кружковцу было восемьдесят с хвостиком. Звали его Степан Михайлович Мудров. Это был большой грузный старик, он носил невероятной ширины брюки. Сзади в них был вшит треугольный клин для увеличения поясного объёма. Ходил он косолапо, шаркая. При таких габаритах у него было детское выражение на лице: блекло-голубые удивлённые глаза, постоянная улыбка, приподнимающая розовые щеки, полное отсутствие зубов за мягкими подрагивающими губами, клочки непробритой серой щетины под носом и на шее. Впрочем, на литературные посиделки Степан Михайлович приходил с зубами — улыбался белыми пластмассовыми протезами. Они были плохо подогнаны местным врачом-протезистом, постоянно пьяным и рассеянным. Часто при первой же фразе Мудрова верхний мост выскальзывал изо рта и, подпрыгивая, катился по полу. Степан Михайлович наги-

бался за протезом и вежливо пукал, а поскольку был ещё и глуховат, то сам этого «нежданчика» не слышал. Хватал он протез пухлой, в тёмных разводах от огородной работы рукой и, обтерев о кофту, захлопывал его в рот.

Стихи Степан Михайлович начал писать ещё пареньком в тракторной школе, где учился на «тракториста-машиниста широкого профиля». Комсомольский вожак школы поручил ему написать стишок к Первому мая, соединив всемирный праздник освобожденных трудящихся с учёбой и трудом в тракторной школе. Степан тогда много читал, заучивал наизусть стихи разных пролетарских поэтов и декламировал их на школьных вечерах и собраниях — наверное, поэтому и поручили именно ему сочинить стишок.

Мудров долго мучился, изгрыз до половины карандаш, перечитал Маяковского и Демьяна Бедного, пытаюсь позаимствовать для начала что-то у них, но не лепилось! И, вконец отчаявшись от этой непосильной мозговой работы, он словно перед скачком на турник напрягся и выдал:

*Мы на Первое на мая трактор в поле выгоняем!*

*Спорится работа до седьмого пота.*

*Радостно трудиться на земле родной!*

*Завершили дело — с песнею домой!*

— Да ты молоток! — радостно сказал комсомольский вожак. — Будешь теперь нашим рифмоплётом. Пиши ещё!

С этого момента затрепетала в душе Степана поэтическая струнка. Он начал писать стишки по поводу и без. Но с годами его поэтический зародыш не прорастал. Как серенькое, похожее на блоху семечко укропа, упав в землю, высунулось двумя хилыми зелёными усиками, да и замерло так до гибели в отведённый срок. Но такова уж поэтическая болезнь — неизлечимая, сосущая душу, возносящая до Бога и швыряющая до беса, и одинаково она мучительно радостна и для таланта, и для графомана.

После того как несколько стишков Степана напечатали в районной газете «Колхозный клич», он назначил себя поэтом. Ему стала тесна районка, и он, зализав в большой конверт десятка два своих стихотворений, послал их в областную газету. В этом инкубаторе стихотворцев отшелушили два творения Степана к какой-то праздничной дате, и он оконча-

тельно утвердился в звании «Поэт»! Мудров стал рассылать стихи по столичным газетам и журналам. Ему отвечали: «Уровень не тот... Учитесь! У вас есть чувство, но... К сожалению...» Потом и вовсе перестали отвечать. А Степан писал с удвоенной энергией.

Так обозначил этот вид поэтического труда Широлесов:

*Пишу я днями и ночами, склоняясь низко  
над столом.*

*И все редакции стихами засыпал,  
словно табаком!*

Но жизнь, как заметил Черпаков, «на всё укажет и всех накажет», а ещё он добавлял: «Для каждой мордочки своя норка имеется!»

Степан Мудров вырослел, появилась семья, дети. Поэзия загадочно улыбалась, но теперь уже издали. Стихи писать он устал. Читал свои сочинения детям, а потом и внукам. Начала сбиваться память. Он путал им написанные стихи со стихами известных поэтов. К восьмидесяти годам своих стихов он почти не помнил, а вот Есенина, Маяковского, Гумилева мог читать почти без ошибок. Впрочем, одно своё стихотворение он помнил всегда:

*На заре, на зореньке выйду на мосток,  
Удочку закину в реченькин поток.  
Ой ты, речка-реченька, бурная река!  
А улов я начал с рыбки-окунька...*

Прочитав его, Мудров обычно плакал. Вспоминались молодость, летняя речка, прошедшая жизнь. И в поэтический кружок он приходил как в своё прошлое, до конца дней дорогое, дающее ему силы для поддержания жизни.

Самым молодым кружковцем был Вадим Кольчугин. Он работал заместителем редактора газеты, как и другие кружковцы, много курил. У него постоянно сохло во рту, и он выпивал за рабочий день по два графина воды. Вадим приехал в городок откуда-то из Сибири. Писал стихи исключительно о таёжных реках, снегах и «волшебных посвистах пичуг в непроходимых глухоманях». Говорить он всегда начинал с протяжного звука «э-э-э-э». Часто этим его фраза и заканчивалась, потому что в спорах и криках кружковцы не могли ждать, когда кольчугинское «э-э-э-э» оборвётся и прозвучат наконец-то слова. Порой они сами переводили его на общепонятный язык

— попросту говорили за него. Тогда Вадим Кольчугин согласно кивал головой, если мысль подтверждалась, или мотал отрицательно, если слушатели переводили его «э-э-э-э» не так, как он мыслил в этот момент. В таком случае он снова начинал экать, но уже громче, пытаясь всё-таки вклиниться в разговор.

Черпаков привычно кричал:

— Дайте же человеку сказать! — после чего Кольчугину давалось несколько секунд тишины.

Он начинал нервничать от множества сверкающих глаз, уткнувшихся в него, бледнел, кашлял, глотал из стакана воду и снова выдавал своё «э-э-э!» — теперь уже издевательски длинно.

— Вот-вот, и я говорю, что это не стихи, а бодяга! — срывался в нетерпении Широлесов. — Это ж надо, рифма: «былинка — ширинка»! А это что?! У меня тут записано: «А сынку могучному расшивала матушка сраку ниткой розовой»! Садизм какой-то! Изуверство!

— Что-о-о?! Да ты почитай историю! — кричал Черпаков. — Срака — это рубашка холщовая, а ширинка — полотенце, рожу тебе утирать!

Об этих исторических названиях обиходных предметов Черпаков узнал на съёмках фильма «Гуляющие люди», где он снимался в массовке, и, впечатленный фильмом, сочинил стихотворение таким былинным слогом.

Все разом закричали, что нельзя так писать. А если же в стихах делать сноски, это не стихи! А слова «срака и ширинка» теперь в другом понимании.

У Кольчугина наконец выливались слова, как из неисправного водопровода: сначала шла коричневая жижа, а потом — чистая вода:

— И в том, и в другом случае всё зависит от контекста, — возглашал он. — Использование диалектов и старых слов допустимо исходя из сверхзадачи... — Тут его чистая вода иссякала, и перед вторым потоком опять поволоклось: — Э-э-э-э...

— Ну да, конечно! Оно так! — перехватывали кружковцы, пытаясь переварить сказанное Кольчугиным.

— Ерунда! — кричал Широлесов. — Надо, чтоб слова все знали!

— Как в твоих матерных куплетах, — язвил Черпаков.

И снова пространство комнаты рвалось и клубилось от криков и дыма.

Отношение Семёна Польского к спорам поэтов можно было определить по его трубке. Когда он внутренне возбуждался, подсосы становились частыми, дым рвался изо рта слепленными друг с другом шариками, которые тут же вытягивались, теряли форму и растворялись в общем смраде. Если на Польского находило спокойствие, трубка замирала, выхлопы прекращались. Покусав мундштук, он вынимал трубку изо рта. Это был сигнал — Семён Ильич будет говорить!

Говорил он внушительно, разводя слова на приличное расстояние, отчего пауз между словами и предложениями не было, как не было и самих предложений — была сплошная тяжёлая речь, похожая на шаги грузного человека по гулкому полу.

— Если серьёзно говорить, то это не стихи, а плохо зарифмованное сообщение, — говорил он, сжавши трубку пальцами, словно голову гадюки, схваченную на лесном пне в туманный день. Пальцы его белели и немели: — В стихах должна быть неожиданность...

Высказав приговор, он ослаблял зажим трубки и, почмокав губами, заправлял её в рот.

У Семёна Ильича Польского была жуткая биография. Он родился и в молодые годы жил в Душанбе. Учился в институте на физмате. Воевал. В конце войны получил звание майора. Грудь его украшали ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны и многие медали. После войны его направили на учебу в Москву, в академию имени Фрунзе. На втором году обучения он слюбился с женой своего курсника. В порыве абсолютного беспамьятства он встретил мужа своей любовницы на лестничной площадке общежития и в ответ на его улыбку давнего знакомого три раза воткнул трофейный немецкий штык в живот сослуживца. Приговор — расстрел. Три месяца в одиночной камере, ожидая исполнения приговора. Письма на имя Сталина и в Верховный Совет. Замена расстрела на двадцать пять лет лагерей.

Отсидел десять в Печерлаге. Вышел по амнистии. Читал лагерникам лекции по теоретической физике и космогонии. Говорил о вселенной, жизни и смерти планет, космических вихрях и таинственных процессах, происходящих в

космосе. От долгого повторения лекций у Семёна Ильича возникла собственная теория происхождения жизни на земле. В основе этой теории — зачатие земной жизни от космических пришельцев. Конечно, эта теория была не нова, но Семён Ильич так уверовал в неё, что выдавал за собственную и напропалую фантазировал на эту тему. В его теории было намешано всё: язычество, христианство, иудаизм, мусульманство, кришнаитство. Из всего этого варева он особенно много черпал познаний о переселении душ, затем фантастически развивал их. После многочисленных лекций лагерники переставали давить в бараках клопов, комарам давали насосаться крови, наблюдая, как серенькое тельце превращается в кровавую клюковку, от слепней и оводов только отмахивались. Исключение делали для вшей — вытряхивали скопища этих плотоядных тварей из подштанников и рубах на костры, шепча при этом: «Вы простите нас, братья наши малые! Что-то уж больно много в вас душ переселилось, сильно вы злые и грызучие...» На очередной лекции лагерники каялись Семёну Ильичу: вот, мол, совершили грех против природы — столько душ погубили в огне! На что тот, уже тогда освоив привычку чмокать губами, после паузы успокаивал:

— Величайшее таинство природы — естественный отбор. Если вы не съедите, то съедят вас. Вселенский разум, частица которого находится здесь... — он звонко хлопал ладонью по высокому, с дальними залысинами лбу. — Это даёт нам право, как самым высокоорганизованным существам на земле, решать, кого оставлять, а кого приговаривать. Души, переселённые во вшей, — это души, наказанные за грехи земные. Таким способом вселенная избавляется от них.

Сокамерники, отравленные знаниями Семёна Ильича, переваривали его слова, а слушатели, пришедшие первый раз из любопытства и естественной лагерной тоски от каждодневного однообразия жизни, глядя на своих задумчивых товарищей, крутили пальцем у виска.

В психиатрическую больницу Семёна Ильича поместили после того, как он заподозрил присутствие инопланетян в местном обкоме партии. Он записался на приём к секретарю как бывший член партии в надежде, что ему помогут с жильём и работой.

В кабинете секретаря обкома по идеологии Семён Ильич изложил теорию происхождения жизни на земле. Он утверждал, что марксистско-ленинская концепция классовой борьбы была разработана отнюдь не Марксом, Энгельсом и Лениным, а привнесена на землю из неведомых глубин космоса более развитыми существами. И они, эти существа, приняв облик людей, обосновались в райкомах, обкомах и ЦК партии, чтобы следить за реализацией этой концепции в земном обществе, и наверняка здесь, в обкоме, есть инопланетные контролёры. При этом Семён Ильич пристально вглядывался в красное от раздражения, одутловатое от сытого питания лицо собеседника, видимо намекая на то, что он, Семён Ильич, подозревает секретаря в инопланетном происхождении.

На выходе из здания обкома Польского уже ждали три милиционера. Они вежливо пригласили его в милицейский газик с брезентовым кузовом и на большой скорости доставили в областной психоневрологический диспансер, по-народному — дурдом. Поскольку в обком Семёна Ильича Польского занесла нужда, то шесть месяцев, проведённых в диспансере, при хорошем питании, чистоте и обиходе он посчитал удачным периодом в жизни.

В палате, кроме Семёна Ильича, было ещё трое — тихих, ушедших в себя, неразговорчивых. Правда, на одного периодически «находило». Он вдруг начинал хохотать, у него появлялись слёзы и слюни, он мотал головой и разбрызгивал их по палате. Прибегала сестра, делала ему укол, и он на полдня засыпал. Двое других безразлично смотрели на смеющегося, а когда приходила сестра, так же безразлично смотрели на неё.

Семён Ильич пытался донести до своих сожителей теорию происхождения жизни, но они лишь смотрели на него редко мигающими глазами, а когда тот замолкал, ложились спать и одинаково посвистывали во сне, словно сурки в тесной норке.

Вскоре Семён Ильич потерял к ним интерес. Он временами отводил душу с главным врачом — толстым седым таджиком, получившим профессию врача в Москве и прошедшим войну хирургом в полевом госпитале на том же фронте, где воевал и Польский. Когда же они вспомнили

общего знакомого — полковника, который однажды обматерил Семёна Ильича за медлительность при наступлении и которому хирург Салим Рахимов вынимал осколки мины из живота, — то главный врач стал называть Польского однопольчанином. Он определил его в категорию нуждающихся в усиленном питании и подолгу беседовал с ним.

Говорил Семён Ильич с главврачом и об инопланетянах и влиянии космоса на человеческую жизнь, но после двух лекций Салим Рахимович посоветовал ему не особо распространяться на эту тему, тем более при посторонних. Как ни странно, Польский понял главврача и стал говорить о пришельцах исключительно с молодой и симпатичной сестрой Ниной Степановной, которая была лет на десять моложе Семёна Ильича. Она была строга, задумчива, с редкой улыбкой на миловидном загорелом лице. По утрам Нина приходила в палату с подносом, на котором под коричневой, вываренной в автоклавах салфеткой лежали шприцы. Три пациента, отвернувшись, покорно спускали до колен мятые пижамные штаны, а Семён Ильич оголял руку по локоть. Со звонкими шлепками по немощным ягодицам Нина Степановна укалывала соседей Польского. Те стояли у своих коек, прижав комочки ваты к местам уколов, ждали команду, и когда сестра, завершив с последним, повелевала: «Оденьтесь!» — единым движением натягивали штаны и дружно ложились на скрипучие, с панцирными сетками кровати.

Семёну Ильичу укол делали в вену. Это был какой-то витаминный раствор для общего тонуса. Нина Степановна била Польского по сгибу локтя маленькой шустрой ладошкой, отчего синим шнурком проступала вена, и ловко вонзала иголку. Её гладкий лоб замирал на расстоянии наклона головы от лица Семёна Ильича. Он смотрел на её брови, губы, щеки, чувствовал тепло, идущее от чистого ухоженного тела. Его охватывало волнение, хотелось продления этой близости. Польский сухим ртом говорил слова благодарности, бледнел до холода в щеках. Нина Степановна пугалась:

— Вам плохо? — спрашивала она. — Прилягте!

— Нет-нет, — отвечал Семён Ильич. — Мне так хорошо никогда не было!

И тут его прорывало. Он начинал говорить о

крови как космической субстанции. Мол, её невозможно было создать на земле. Изобрели кровь в непостижимых земному разуму ретортах и колбах вселенских лабораторий за миллионы световых лет от земли и влили в людей и животных, как бензин вливают в моторы машин.

— Вы подумайте только, Нина Степановна, чтобы долететь до этих лабораторий, потребуются звездолёты, летящие быстрее скорости света. И даже при такой скорости — это сотни лет полёта!

Большие с грустным наплывом глаза Нины Степановны замирали, уткнувшись в побледневшее лицо Польского, словно она и впрямь оценивала дальность, сложность космического полёта и вероятность его осуществить. Но только на минуту возносились она в космос, окутанная фантазией пациента, словно донная личинка в пузырьке метана, взлетающая к поверхности заиленной реки: мгновение — пузырёк лопаётся и личинка возвращается в свою стихию. А после Нина Степановна оказывалась в палате психбольных и обязательным для всех больных голосом говорила Семёну Ильичу:

— Я вижу, вам лучше, ложитесь, отдыхайте, — и уходила на двое суток.

Так неделя за неделей, встречаясь только на процедурах, они постепенно сближались. Обозначилось между ними таинственное притяжение, возникшее из ниоткуда, не имеющее ни объяснения, ни сколь-либо общелюдского понимания. Скорее всего, Нина Степановна попала под влияние космоса Семёна Ильича...

Через полгода их больничных встреч, делая ему очередной укол, Нина Степановна сказала вполголоса:

— Я узнала, что вы... выздоровели и вас скоро будут выписывать. Мне и послушать теперь некого будет...

Нина Степановна была одинокой женщиной. Два раза она выходила замуж. Детей не народилось. Первый муж погиб на границе. Второй умер от пьянства. Первый — офицер, старший лейтенант, любил её, оберегал, как хрустальную вазу. Второй — нещадно материл и бил. После его захлёба «рвотными массажами» — так написали о причине смерти, Нина Степановна замуровала душу и холодно пресекала попытки мужчин сблизиться с ней.

За неделю до выписки Польского из больницы Нина Степановна предложила ему комнату в своей двухкомнатной квартире.

Позже, сочетавшись пока ещё гражданским браком, Нина Степановна призналась Семёну Ильичу, что главный врач Салим Рахмонович, видя её симпатию к больному, сказал ей: похоже, никакой психической болезни у пациента нет, а его космические фантазии не что иное, как оригинальная форма самосохранения и защиты от агрессивной внешней среды. После этого главврач попросил Нину Степановну помочь его однополчанину с жильём и обустройством, если, конечно, она не возражает. И она не возражала...

Прожили они в восточном городе двадцать лет.

Семён Ильич учительствовал в ремесленном училище, которое готовило «овощеводов бахчевых культур». Он вёл уроки математики и физики. О космосе и теории происхождения жизни говорил только в пределах утверждённой учебной программы. Зато в кружке юных астрономов, который он организовал во внеучебное время, фантазии Семёна Ильича гуляли на полную мощь.

Смуглые таджикские дети постигали неведомую космогонию так близко и осязаемо, насколько был им ближе и осязаемей, чем детям севера, кусок восточного неба. Словно лежали они под абрикосовым деревом вселенной: протяни руку — и окажется в ладонях жёлтая звезда, так похожая на мягкий абрикос.

В качестве учебных пособий Семён Ильич приносил в класс дыни, арбузы, персики, те же самые абрикосы.

— Представьте себе Луну, — говорил Семён Ильич, поднимая на стол вызревшую тугобокую дыню. — А это наша Земля, — катился, погромыхивая, тяжёлый арбуз. — А теперь представим себе, как из глубины космоса летят на Луну и Землю метеориты... — Он брал горсть абрикосов и сыпал их. Абрикосы отскакивали, катились по полу. Ученики поднимали их и с разрешения учителя съедали.

Семён Ильич рассказывал о кратерах на Луне, которые — по науке — выбили метеориты. О жизни инопланетян в лунных недрах, о душах праведных и неправедных, которые возносятся

и селятся на непостижимо далёких звёздах или гнезятся во вшах, тушканах и других земных тварях с коротким сроком жизни.

После уроков Семёна Ильича дети дружно съедали «учебные пособия», а дома просвещали своих родителей. Говорили, что Луна — это дыня, метеориты — абрикосы, а в барашке, которого «апа» хочет резать, возможно, живёт душа их дяди Шухрата, который был плохим человеком: воровал скот, таскал гашиш из-за гор и был убит в очередной свой воровской промышл.

Родители приходили смотреть на чудного учителя. Плохого в его уроках вышестоящие органы просвещения и коллеги учителя не находили, и поэтому жалоб не было. Даже, наоборот, замечали, что дети становились тише и задумчивей.

Но Нина Степановна заболела, и ей, уроженке средней полосы, врачи рекомендовали сменить климат. Так они оказались в Дольске.

Первым делом Семён Ильич прошёл в городе по присутственным местам. Записал в большой с металлическими пружинами блокнот дни и часы приёма начальственных лиц и, соблюдая ему одному ведомый ранжир, посетил каждого из них. Зафиксировал себя в их восприятии как личность незаурядную, глубокомыслящую, самоуважительную и требующую к себе особого внимания. Таким ему хотелось быть, так он себя и осознавал.

Председателю горсовета Польский дал совет по оборудованию крытых автобусных остановок и скамеек на них. Говорил он долго, раздвигая слова на промежутки метровой длины. Бухал слова, как восточный акын палкой в тулумбас. Секретарь председателя, призванная записывать то, с чем пришли посетители, застыла с карандашом в руке, губы её слегка приоткрылись, и она переводила непонимающий взгляд с лица своего начальника на прокалённое восточным солнцем лицо Семёна Ильича.

По начальственным кабинетам городка стрекнул предупреждающий телефонный прозвон: появился ещё один шизанутый правдолюб. Во избежание писем наверх и пасквиблей рекомендовали принимать и выслушивать его с уважением и добрыми улыбками, что скрепя сердце и начали делать местные чиновники.

Семён Ильич пасквиблей пока не писал, а взял за роман о войне под названием «Чёрный

тигр». В романе конь чёрного окраса бегал по лесам, полям и лугам и нещадно кусал немцев. Конь обладал невероятным интеллектом, просчитывал хитроумные ходы врагов, логически мыслил, по-лошадиному пел песни, по-мужски обгуливал попавшихся на его пути кобыл, перекусывал зубами колючую проволоку, перепрыгивал трёхметровой высоты стены и делал ещё всякие невероятности, которые воспалялись в голове Семёна Ильича.

Две главы из своего писания он прочитал на очередном литературном собрании.

После минутного раздумья Широлесов заявил, что таких лошадей не бывает. Вопреки правилам постоянного несогласия друг с другом, его поддержал Черпаков, сказав, что лошадь — она и есть лошадь и не надо делать из неё человека. И началось! Семён Ильич стал вбухивать слова, как бульжники в железо, — тяжело и гулко:

— Этот конь — образ — художественный — собирательный — он олицетворяет — освободительную — борьбу — народа — от захватчиков! — Буцефал, — говорил Семен Ильич. — Холстомер — Савраска — Белая Грива — Сивка-Бурка — Каштанка... В русской литературе — табун лошадей!

— Каштанка — собака! — застенчиво вставил Мудров.

— Э-э-э-э! — пытался вклинить в спор Кольчугин, но его сбивал Черпаков:

— Не может лошадь без человека! А человек у тебя нет! Да её немцы сразу бы пристрелили и шкуру содрали!

— И что это за Буце-Вал такой? — ехидно вставлял Широлесов. — Что-то в наших сказках я не читал про Буцевалов! Буцевал... хреном крышу содрал!

— Чтобы самому писать, надо много читать! — огрызнулся на это замечание Семён Ильич. — Буцефал — конь Александра Македонского. Легендарный конь!

— А при чём здесь Македонский со своим Буце-Валом?! — обиделся за упрёк в невежестве Широлесов. — Мы в СССР живём. У нас Сивки-Бурки, а не Буце-Валы! Ты на своего «тигра» посади героя, пусть он подвиги совершает, а то лошадь у тебя умнее людей, даже немцев. Уж воёвал ли ты?! — сразил догадкой себя и слушателей Широлесов. — Сказки сочиняешь про вой-

ну! Буцевалов подсовываешь! А может, ты еврей? Носяра у тебя — вон какая! Потому и Македонский у тебя в почёте!

Семён Ильич был готов ко всему, но такого поворота не ожидал. Он вынул трубку, задвигал губами и, повернувшись к Вадиму Кольчугину как избранному руководителю литературного кружка, с незнакомым клёкотом в голосе произнёс растянутую, как резиновая полоса, фразу:

— Я не могу отвечать необразованным, наглым, кичащимся своей дикостью людям. Кроме всего прочего, этот, пишущий рифмованные строки, выявил себя как мракобес и человеконенавистник. Я воевал и учился в академии, и не уважай я себя — набил бы морду этому гражданину. А вас, Вадим Юрьевич, прошу пресекать такие речи приглашённых сюда товарищей, а то я вынужден буду обратиться куда следует... — Трубка в рот — и запыхали сплошные шарики белого дыма.

У Кольчугина задрожали руки, стрельнуло в мозгах: «Редактор — райком — бдительность — крамола — выговор!»

— Э-э-э-э, — затынул он пересохшим ртом.

Но продолжение этого звука было скомкано криком Черпакова:

— И гордый внук славян, и финн, и дикий ныне тунгус, и друг степей калмык! А я добавлю: и чёрный негр, и волосатый армяк, и носатый еврей, и мелкорослый японек, и пузатый американек — все люди наши братья! И мы их любим! Доведись им попасть в беду — последние штаны отдам, но выручу!

— Нет американской национальности, — тихо и обречённо сказал наконец Кольчугин. — Но ты прав, не бывает плохой нации...

А Широлесова несло:

— Есть национальность! — кричал он. — Есть! У нас в Зареченском районе жил еврей! Он трёх девок обгулял, ни на одной не женился! Я про него стих написал: «Не ходите, девки, в баню — в бане моется еврей. А у этого еврея...»

— Х-х-хватит! — пронзительно закричал Кольчугин. И, когда все замолчали, тихо добавил: — Если так, то не будем больше собираться.

Мудров улыбался молодой протезной улыбкой. Широлесов ушёл в себя, с сопением прогонял дымный воздух сквозь волосатые ноздри. Черпаков высунулся в форточку, его спина то

бугрилась, то опадала — он дышал. Другие кружковцы задумчиво остывали после словесной схватки.

Так обычно завершался литературный вечер. Литкружковцы расходились по одному, не глядя друг на друга, часто даже не попрощавшись. На следующие посиделки они собирались как ни в чем не бывало, с полным запасом словесной энергии.

Их, как литераторов, приглашали в различные городские заведения: школы, дом престарелых, швейную фабрику, больницу. Они читали стихи. На полном серьёзе говорили о своём творчестве. Многие школьники после таких встреч тоже начинали писать стишки, сказав себе: «Так-то и я могу!» Конечно, лучше всего у них получались матерные зарифмовки.

Восторженно принимали кружковцев учащиеся сельскохозяйственного техникума, который располагался в здании бывшей при царе-батюшке мужской гимназии. Последнюю пару часов, по расписанию предназначенную предмету «Русская литература», отдали местным литераторам.

Группа учащихся ждала мастеров слова перед входом в техникум, украдкой курили. Завидев литераторов, появившихся на дорожке, парни побросали окурки и посторонились.

— Ну что, шантрапа, курите? — мрачно спросил Черпаков. — В армии сипеть будете!

Учащиеся знали Черпакова, он приходил к ним на уроки физкультуры и рассказывал о здоровом образе жизни.

— Не-е-е, мы балуемся! — дружно ответила «шантрапа».

— Миша тоже кое-чем баловался, да отцом стал, — непедagogично сказал Широлесов.

Парни, оценив юмор, дружно хохотнули.

Завуч провела гостей в актовом зал, усадила за длинный стол на сцене и дала команду на запуск слушателей.

Учащиеся вломились в зал из коридора, россыпь подростков заняла стулья в зале. Вошли преподаватели и встали около своих групп, холодными взглядами охлаждали наиболее болтливых и шумных.

Завуч представила гостей на сцене, назвав их писателями и поэтами, отчего все пятеро почувствовали гордость за не зря прожитые годы и от-

ветственность за наречение их столь высокими «титулами». Они подтянулись и сделали, как им казалось, свойственные только писателям выражения лиц: серьёзные и задумчивые. Только Степан Михайлович Мудров белозубо улыбался, глядя в зал, вспоминал свою юность, учёбу в тракторной школе.

Первым выступил Вадим Кольчугин. Он рассказал о литературной студии при редакции радио, о творчестве студийцев. Прочитал свои стихи о сибирских просторах и таёжных рассветах. Ему хлопали, но не густо.

Кольчугин предоставил слово Польскому. Семён Ильич встал, посмотрел в зал и забыл, зачем он сюда пришёл. Нет, не от смущения или волнения, он был совершенно спокоен. Просто он не определился ещё, с чего ему начать. И тогда Семён Ильич по неведомо где приобретенной привычке шлёпнул себя ладонью по морщинистому лбу, да так громко, что звук долетел до последних рядов зала. Парни захохотали и в ответ Семёну Ильичу дружно зашлёпали ладонями по своим молодым лбам.

Польский начал было о мироздании, но Кольчугин шепнул: «Э-э-э...» Семён Ильич посмотрел на Кольчугина, тот продолжал: «Э-э-э...»

— Читай про тигра! — перевёл мысль Кольчугина Черпаков.

Вадим согласно закивал головой.

Семён Ильич начал читать «про тигра», но его мало кто слушал. Когда он завершил, ему захлопали густо и громко, видимо, от радости, что нудное чтение наконец-то закончилось.

Потом выступал Черпаков. Он говорил о вреде курения и алкоголя. Обозвал молодёжь хлюпиками. Рассказал о своей фронтовой юности, как попал к немцам в плен, как работал у бауэра-хозяина и вредил ему. Пленные сортировали зелёный лук на продажу, связывали в пучки по десять головок. Черпаков вместо десяти связывал по двенадцать штук — наносил немцу экономический урон. Бауэр заметил вредительство Черпакова, пучком лука тыкал ему в физиономию, приговаривая: «Швайн, шлехт, дурьяк!», даже пообещал, что, если такое повторится, он снова отправит Черпакова в лагерь. Тот повинился и стал завязывать в пучок по восемь луковиц... Дальше рассказал, как убежал от бауэра к французским партизанам и воевал до Победы.

В зале зашелестел шумок. Ребята стали переговариваться, а преподаватели покрикивали на них.

Покорил и увлёл слушателей Широлесов. Он без предисловия начал читать свои четверостишья, посвящения, пародии. «Этот прототип работает в магазине», — говорил Широлесов и читал о продавце. «Это — работник электросетей... А это — житель с одной улицы... А это...» — и читал, заменяя где можно матерные слова, а где не заменялись, многозначительно замолкал и трижды топал ногой.

Но учащиеся не могли заменить, и матюжок приглушённым хором поднимался над рядами. Педагоги переглядывались. Завуч заволновалась, уж было хотела прервать встречу, но Широлесов вовремя закончил, прочитав доброе стихотворение о природе. Ему долго хлопали и даже кричали: «Бис!»

Напоследок Кольчугин представил старейшего литератора города и района Степана Мудрова.

Мудров встал из-за стола, набрал побольше воздуха для оглашения придуманной сокровенной фразы приветствия, но начальный тугой выхлоп воздуха вышвырнул изо рта Степана Михайловича челюсть. Она теннисным шариком запрыгала по доскам сцены. Зал словно обезлюдел: абсолютная онемелая тишина. Мудров на удивление энергично пошаркал за челюстью, догнал её, наклонился, и позади него возник коварный звук, такой знакомый товарищам по литературному цеху, но не знакомый аудитории.

В зале рвануло! Такого хохота эти стены ещё не слышали. Казалось, стулья подпрыгивают, люстры качаются, стёкла в окнах звенят, словно по ним бьёт снаружи ливень.

Завуч давила в себе смех, удерживая серьёзное лицо, отчего слёзы текли по её щекам. Улыбающиеся преподаватели отворачивались от учащихся, соображая, как вести себя в такой ситуации.

Поймав челюсть, Мудров жестом фокусника определил её в рот и как ни в чём не бывало начал читать своё любимое стихотворение «про окунька» и плакать...

Степану Михайловичу хлопали дольше и громче всех. Он улыбался и кланялся.

После этого выступления пришла к кружковцам общегородская легендарная слава.

Елагин часто бывал на этих литературных посиделках. Он слушал небывальщины о жизни городка, о его людях и всякий раз дома записывал в блокнот самое интересное из услышанного.

## 9

*«... Что бы мы делали без нашей родной советской власти? Только благодаря ей мы и можем высказаться в полный голос без всяких лицеприятностей и утаек. Кто бы раньше помыслил о такой свободе!»*

*В чём кроется вопрос? В городе существует музей. Работает в нём завхоз Абрамов. Он не партиец, но на фронте борьбы с религией должен им быть. И вот вместо торжественного заседания по случаю мирового праздника освобожденных трудящихся Первого мая Абрамов устроил у себя в доме вечер буржуазных воспоминаний. Пригласил Абрамов попа Демокритова. Выпив и закусив, поп с Абрамовым пели под граммофон «Выйду ль я на реченьку», «Коробочку», «Атаман удалой с кистенем промышлял» и другие не советские песни. А поп Демокритов подаёт фининспектору декларации, получает из финотдела извещения о выплате налога с дохода, но налоги не платит. Вот какой нечестный поп!»*

*С Абрамовым они два сапога пара. Абрамов в пьяном виде вытворяет всякие буйства, снуёт языком, как помелом. Однажды на замечание утихомириться в оправдание своего буйства он кричал, что у него имеется анархический билет и ему, дескать, всё можно. Райком, разберись и прими меры».*

*Н. Савостиков, рабкор (Газета «Колхозный клич»)*

Четверо бежали по большаку к лесу. Впереди тяжело выбрасывал намазанные дёгтем кирзачи парень в сером галифе и клетчатом зелёном пиджаке. В руке у него покачивался коричневый раздутый портфель.

За парнем левым плечом вперёд подтягивался худой чернокудрый мужик в расстёгнутом френче на голое тело. Мужик тарасил единственный слезящийся глаз и хрипло дышал. В его руке оттягивался фанерный остроугольный чемоданчик. Такой же чемодан был и у третьего бегущего — выпукло-толстого, в длинной навывпуск рубашке-косоворотке и льняных грязных брюках.

Толстый бежал легко, ноги в парусиновых туфлях пружинили, прыгал живот, дёргались отвисшие красные щеки.

Последним нёсся по дороге подросток лет шестнадцати — крепкий, прямой, спортивный — в зашнурованной полосатой футболке и сатиновых шароварах. За спиной у подростка болтался самодельный рюкзак — холщовый мешок, связанный в углах верёвкой.

— Да не спешите, успеем! — оглядываясь, кричал он. Подросток мог легко обогнать спутников, но ему доставляло удовольствие казаться бесстрашным.

В километре от бегущих громыхала погоня. На телеге, раскорячившись, стоял разгорячённый бородатый мужик и, накручивая над головой концами вожжей, орал на скачущего галопом жеребца. Следом бежала толпа с колыями, связанными уздечками и намотками цепей.

До леса оставалось метров двести. Четверо перемахнули через канаву на опушку и заработали шальными ногами по густой траве. Толстый запнулся и упал.

— Убьют! — хрипнул через плечо одноглазый.

Толстый подпрыгнул с земли и обогнал одноглазого. Вломились в лес. С треском и хрустом продрались вглубь, и скоро всё стихло.

Преследователи остановились у канавы. Нескольких самых горячих побежали оглядывать редкий сосняк. Двое парней принялись бить палками молодую берёзку. Успокоившись, вернулись к телеге.

— Кто-то их настерёг, — сказал хозяин телеги, широкий мужик в сатиновой пропотевшей косоворотке.

— Да и они, видно, жохи тёртые. Надо же, такую церкву за ночь разорить! — со злобным восхищением сказал заспанный мужик. — Ушли, топерь найди-ко их!

— А бегли-то как! Толстый пёр, словно кабан в подране!

Оставшись с пустыми руками, мужики бросали палки, смеясь, показывали на тех, у кого в руках болтались цепи и уздечки, а те, в свою очередь, словно опамятовшись от ослепившей их злобы и устыдясь её, закидывали цепи и уздечки за спины, окручивали вокруг пояса, стараясь придать им самый безобидный вид. И все эти люди словно забыли о том, что нес-

колько минут назад они могли догнать и убить тех незнакомых людей.

Вчера в соседнем селе был престольный праздник и мужики с жёнами и ребятей ушли на гулянье. За полночь на гулянку прибежал запалённый малец:

— Тятка, у нас с церкви колокол уронили! — крикнул он толпе, мнущейся возле ошалевшего от беспрерывной игры и самогона гармониста.

— Ктэ-э! — рявкнули из толпы.

— Пришлые, вчера они вокруг неё глазелись!

— Ай, мужики, церкву-то пропили! — слюняво взвизгнула растрёпанная краснолицая баба.

— Ты прошай, моя зазноба! — дурашливо запел гармонист, принаваливаясь на меха.

— Дай я ему в рыло хлобызну! — рванулся к гармонисту парень из села.

— Я тебе хлобызну, — выдвинулась пучегрудая баба. — Аршин с носом, а ища драться!

— Где председатель?! — крикнули мужики.

Пьяный председатель спал у шурина в сенях. От толчков мотал головой, мычал:

— Имею сказать... имею ска...

— Бей пришлых! — потряс хмарные головы мужиков новый клич.

— Не уйдут до утра, давайте ещё по стакашку!

Выпили, сплясали и пошли в своё село.

На церкви не было крестов, на колокольне — колоколов. На сломе, где были кресты, торчали острины ржавого железа. Большой колокол с колокольни вмялся в землю, его зеленовато-бурый бок раззмеила трещина, два малых колокольца лежали рядом.

— Порушили, стервы-ы! Ведь нашо же это! — выкрикнул на взрыде пьяный голос.

И это слово «нашо» возбудило мужиков. Каждый почувствовал, будто на его дворе пришлые устроили погром.

— Где ронялы?!

— В сельсовете ночуют.

— Шли-и-и!

Но пришлые, разбуженные сельским активистом, уже были на околице.

А начиналось хорошо. Бригадир Данила Косой выговорил аванс у председателя, часть оплаты была сделана салом и хлебом, от основной же части заработка они теперь бежали во все лопатки.

«Сам председатель и нацыкнул мужиков, — думал Данила. — Бегай, как заяц, в мои-то годы...»

Председатель сам попросил их порушить церковь: дескать, колхозники на собрании так решили. А единоличники и несознательные пригрозили: тем, кто тронет её, ух как не поздоровится.

— Вы, я вижу, мастера-шельмецы, потому sprawy никакой не даю, акромья верёвок и пил. Для того чтобы вам набожники и прихлебатели хрябцы не свернули, даю для охраны вашего спокойствия уполномоченного Семёна Горельшева. Но упреждаю: охранять он вас будет в светлое время дня, а ночью — не обесудьте. Не хотите? Я безбожников из города напущу. Они хоть поваландаются, а чёрта свалят, и деньги им платить не надо.

— Хитёр! — сказал Данила. — Только что ты их раньше не позвал, а всё о маковку ногти тупил? С пришлыми дело иметь спокойней: шею нам сломят — вы ни при чём, мужики выдубят — опять за дело, чужие! А за своего сопляка, если что случится, в органы потянут. Хитёр!

Председатель посмурнел, отвалился на скрипучем стуле.

— Вот что, граждане, хотите работать — делайте, не хотите — давайте говорить с ночи до утра! Я могу, потому как должность у меня сидячая.

Данила протёр кулаком заслезившийся белый глаз.

— Про твоих басурманов пущен слух: мол, электричество проводить собираетесь, — сказал председатель, видя замешательство Данилы. — Когда они вас раскусят, я не знаю, потому торопитесь. Завтра в Ратницком престольный праздник, весь народ там будет...

К церкви шли огородами. На плечах связки верёвок. У Данилы за поясом — топор, в руке — две пилы с растяжкой ручек.

Толстяк икал, оглядывался и поминутно толкал в спину сонного парня. Тот дёргал плечом, отпихивал толстого, шипел:

— Да не липни ты, Протас...

На 'то толстяк прерывающимся от страха и обиды голосом, сглатывая икоту, огрызался:

— Места ему нет, попрыга чесотая, вечно в ногах плутает! — увесисто врезал в речь офенские слова.

— Пришипьте! — зло выдыхал Данила. — Нашли время гарачить! — тарашил блестящий в свете месяца глаз.

Подросток, которого все ласково называли Петруша, весело фыркал над страхом толстяка и деловитостью бригадира и того парня — Ивана. Ломал он всегда с дурашливым удовольствием, радовался сделанному и ни о чём не задумывался, ему было интересно жить.

Скоркнул большой замок, ещё днем тайно оплеснутый керосином. Отвалили поделники окованную железом дверь. Данила плотно прикрыл её за собой и заклинил ручки деревянным брусом — чтобы с воли не отворили.

В колокольне было темно и сыро. Данила зажёл керосиновый фонарь. Затащили на звонницу три толстые доски, два берёзовых круляща и две слегги. Присели отдохнуть.

Протас, тяжело дыша, ворчал:

— Ночью придумали. Нет чтобы днём... В Покровском — днём, в Бородине — днём, и никто слова не бросил...

— Здесь, говорят, народ сильно набожный — шуранут с колокольни! — ответил Данила.

— Слышь, как набожные гуляют! — поднял палец Протас.

Прислушались. Из-за реки, из темноты, разбавленной слабым светом назревающего месяца, доносились рваные выхрипы гармони, крики песен, в двух местах горели костры. Их отблески слизывали темноту над селом, осветляя небо, уже не фиолетовое, а густо-синее.

— За работу! — скомандовал Данила.

Разостлали под колоколом доски на трёх деревянных катышах. Данила с лестницы подпилит перекладину.

Колокол коротко и грузно рухнул на доски. Завели жерди под доски, мощно навалились, колокол подвинулся к низким перильцам звонарной площадки. Подбили первый катыш назад, колокол наклонился к перилам, концы досок поднялись.

— Глянь вниз, не прищлепнуть бы кого, — приказал бригадир Петруше.

— Чисто, — сказал тот, оглядев площадку перед храмом.

Спинами уперлись в доски. Колокол скоркнул выпуклым боком по тонкой перелине, словно спичку, переломил её и невесомо обрушился

вниз. Глухо дрогнула земля, показалось, что колокольня качнулась. Залаяли собаки. На миг возникло ощущение, будто село наполнилось людьми и они бегут к церкви. Четвёрка настороженно вслушивалась. Но собаки смолкли, из-за реки так же доносились клочки песен, и Петруша весело сообщил:

— Чисто!

Быстро скинули три маленьких колокола и принялись за крест. Опилели гнездо, в которое было вставлено основание. Кованый крест наклонился и, корёжа железо купола, громыхнул по скатной крыше вниз.

Бригада спустилась в алтарь.

Высокие иконы деисусного чина выбивали топором. Это была лёгкая работа, иконы из тьяб выскакивали с первых ударов и падали на каменный пол. Вынесли их в притвор к входной двери и заперли церковь.

— Светает. Хоть вздремнуть бы часок, — зевнул Протас, уже не чувствующий страха, а только усталость и желание поесть и выспаться.

— Матушка моя, покойница, посмотрела б, что я делаю! — сказал Иван. — Со стыда бы сгорела после такого...

— Благородное дело, Ваня, — сказал Данила. — Десять лет революции, а мы ещё не разрушили эти каменные чушки. Я всю жизнь за религию страдаю и буду крушить их, пока второго глаза не лишат. А выдавят и его — приду на ощупь, — он мял длинными смуглыми пальцами верёвку. Скомандовал: — Уходим!

Отца Даньки — церковного вора сбросили с Преображенской колокольни на прокалённую июльским солнцем пыльную площадку перед церковью. Тот должен был по заказу выкрасть икону Казанской Божией Матери старообрядческого письма.

Молоденький дьячок с заплаканным белым лицом попятился на площадке звона, запнулся, схватился за верёвку малого колокола. Медный язык дёрнулся, колокол вполсилы гуднул.

— Оробе-ел! — с насмешливым удивлением повернулся от перил церковный староста. Трое мужиков рядом засмеялись.

— Глянь, как коробится! — отвернулись от дьячка, глядели вниз. — Чай, помирать неохота!

Данька с матерью приехали к вечеру. Наряд-

ная, в крапчатом сарафане мать подломила на колени, перевернула на спину раздробленное тело мужа, вскрикнула и принялась сглаживать со лба убитого ссохшиеся в корку красные волосы.

— И не всплакнёт, — сказала баба из толпы.

— А пошто ей плакать? — вступила другая. — Чай, натаскал на всю жизнь, топерь хлебай с золотого блюда.

— Сыта, ишь зад, как у кобылы, — втёрся к бабам мужик. — Нуткось, у вас шупну!

Бабы дружно и беззлобно огрызнулись.

— Пашенок-то весь в вора, — громко рассуждали они. — Ишь, чернобылай!

— Сирота топерь...

— А ты поди пожалей воровское племя! Сопляк, а уж эн как выглядывает, бытъа камни бросает!

Данька слышал толпу, поворачивался на громкие голоса, но видел только пятна лиц. Мать по-прежнему отрешенно гладила волосы мужа. Возница от телеги неизвестно кому выкрикнул:

— Нечо!

— Мамка! — Данька тронул мать за плечо. — Мамка, бери тятку, и поедем... Бери...

Мать встала, отряхнула сарафан, и Данька увидел её до прозрачности бледное лицо и непонятные чужие глаза.

Два мужика положили тело Данькиного отца на телегу. Тронулись. Мать, словно вспомнив что-то, повернулась к толпе и, чуть наклонив голову, плюнула на дорогу. Судорожно вздохнув, она пошатнулась и ухватилась за передок телеги.

— Нечо! — снова крикнул возница, теперь уже на колокольню и удаляющуюся толпу под ней.

Данька запомнил ухмылявшегося на мать мужика, громкие голоса баб, и это стало для него первым явным злом, которое он не мог забыть. «Зол много, — часто говорила мать, — но все они из одного корешка растут — из нутра людского». Даньке не понятно было, о чём она говорит. Уж коли зло, так вот оно: шербатая рожа в толпе, пучегрудые одноцветно серые бабы, и у их ног — тело отца, будто бегущее откуда-то сверху, но остановленное землёй.

Мшчение вызрело в Даньке. Мать после смерти мужа оборотилась к Богу: истово отмаливала грехи свои и его. Данька же Бога не чувствовал, считал, в смерти своей отец сам повинен: сплеховал, не осторожничал. Но разве надо было его

убивать? Но ничего, Данька нагонит страху на село, вспомнят они убийство!

Из уездного городка до села Данька дошёл за полдня. Летнее солнце свалилось за горизонт, прогнали с выпаса скотину. До темноты он просидел у реки в осоке. Продрогший, искусанный комарами прокрался задворками к церкви. Тяжёлый замок закусил кованую щеколду. Тонкой железной полоской покрутил в скважине — тело замка отпало от дуги, — отцова наука. Данька передохнул, огляделся и только сейчас почувствовал, как ему жарко, но одновременно пробивала остуживая дрожь. Тихо-тихо сдвинул щеколду, юркнул в приоткрытую дверь и плотно притиснул её за собой.

В церкви было тепло, пахло ладаном. Лунный свет всасывался маленькими решетчатymi оконцами. Данька приучил глаза к полутьме и пошёл к алтарю. Вчера он знал, что будет делать в церкви: знал, что сдерёт оклады со знатных икон, разорит алтарь, возможно, сделает пожар. Но сейчас в этой омертвелой тишине, в мерцании начищенных окладов, в свечении верхних купольных окон, которые образовали круглое матовое облачко, державшееся на железной крестовине, Данька почувствовал себя так, словно опустили его на дно колодца. Кроме страха и желания поскорее из него выбраться, у него ничего не осталось. Перемогая страх, Данька шагнул вперёд и упал на ступеньку алтаря. Вскочил и побежал назад, к двери. С разбегу ударил плечом в гладкое дерево. Дверь дрогнула, но не открылась. Данька вспомнил слышанные им наказания за богохульство, вспомнил отца, ещё раз толкнул дверь и, не сопротивляясь слабости, сполз по ней на пол.

— Торкается! — услышал вдруг он с улицы и обрадовался человеческому голосу, но тут же радость погасил новый страх. Данька вскочил и напряг слух.

— Топерь окна караульте!

— В окна не пролезет, — уверил второй голос.

— Вроде батюшка идёт!

— Он... С мужиками...

За дверью глухо загудели голоса:

— Сколько их там?

— Кажись, один.

— Меня на него как Бог навёл! Гляжу, озорко

крадётся, я — за ним, он к церкви и замок как сдунул — фук, и туда — сиг!

— Велик ли вор будет?

— Да пошире Матвея, вон... А может, и не пошире. Темнота, знамо, мельчит...

— Тоды четверо с колышками сюда станьте...

— Открывай...

— Нельзя, батюшка, сразу-то. Надобно сперва опросить его — пусть голос подаст.

— Попался! — боязливо задрезжал за дверью голос сторожа. — Бросай мешок и выходи! Миром судить будем!

Данька молчал, и не оттого, что не хотел откликнуться, а оттого, что не мог крикнуть сухим отвердевшим горлом.

— Затаился, шельма! Отмыкай, коли...

Щёлкнула щеколда, мощно раскинулись двери, толпа с фонарями медленно вошла в церковь.

Данька сжался за дверью, думая выскользнуть на волю, как только люди пройдут вперёд, к алтарю.

— Где он, нечестивец! — голос батюшки раскатисто гульнул по церкви.

— Причудилось Федоту! — голос из толпы. — Мохрун, только людей взбаламутил.

— Знамо... чай, сам не запер церкву. Таких сторожов надобно к замкам за бороды привязывать!

— На жаловании, хрен тёртый!

— Да я!.. — обиженно закричал Федот. — Да у меня голова ища как светёлка! Я ж его вживе, как вас, токмо, правда, с заливка! Да здесь он, здесь!

Толпа кучно, с опаской тыкалась в тёмные углы.

— Каждая вещь на своём месте! — снова громко высказал батюшка после осмотра церкви. — Истинно, Федот, зря ты народ поднял...

— Здесь он, здесь! — с тоскливым упрямством тянул сторож. — Хоры надобно обшупать!

Если бы Данька выдержал до конца, то, может быть, его бы и не заметили и он скоротал бы ночь в запертой церкви, но он увидел в щель свободный выход, пока толпа шарит у алтаря. Данька вывернулся из-за двери, прыгнул с паперти на землю, ощутил вольную летнюю ночь с кучной россыпью назревших звёзд, с плотным знобким воздухом, с росистым вытканьем гладкой травы. До дрожи прохватился шальной ра-

достью свободы, бесконечного пространства, затаённостью густо-синей дали, в которой можно укрыться и от людей, и от неотступного страха. Он убежит! Но на третьем прыжке Данька с лёту подбил ногами о выставленный мужиком кол, упал, оцарапал лоб и щеку, хотел вскочить, но на спину навалился мужик и, заламывая Даньке руки, закричал дрожащим голосом:

— Пыма-а-ал! Пыма-а-ал!

Толпа сгрудилась над ними. Мужик держал Даньку и возбуждённо повторял:

— Вот пымал, вот!

— Дак это ж малец, а где вор? — спросили из толпы.

— Федот, никак он ширше меня? — выступил Матвей.

— Не-е, Матвейка, из его троих, как ты, вырубись! Так ли, Федот?

— Ха-хай-й!

— А может, он сподручный, а главный — эн, — показал Федот на церковь.

Церковный староста подошёл к Даньке, взял его за мокрые волосы, дёрнул вверх.

— Где напарник? Ну!

— Один я, дяденьки-и! — тянулся на носках Данька, слезясь от резкой боли.

— погоди, погоди, — староста закинул голову мальчика. — Посвети-ка, — обратился к мужику с фонарём. — Так это ж шенок давешнего вора. Ах, сучье семя! А ну, пошли, — он потянул Даньку к церкви.

Батюшка запер церковь и подошёл к мужикам. Уяснив, в чём дело, поглядел на Даньку сухими прохватистыми глазами, бросил коротко:

— Не украл, стал быть, не вор, — и пошёл прочь.

— Батюшка, вели отпустить меня, я к мамке хочу! — в отчаянии закричал Данька, видя, что единственный его заступник сейчас уйдёт.

Батюшка повернулся:

— Зачем лез?

— Сам не знаю...

— Мстить хотел, да Бог отвёл?

— Так, батюшка...

— Недоумок! Поучите его, да не забейте, — бросил старосте и ушёл.

— А мы и бить не будем, — сказал староста, блеснув длинными крепкими зубами. — Принесите-ка луковицу...

Староста сплющил луковицу каблуком сапога, помял в ладони и, притиснув голову Даньки к своей груди, прилепил едкую луковую размятинку к глазам мальчика.

Данька отчаянно по-заячьи закричал, забил ногами по земле. Староста держал крепко и тёр скорзлой ладонью Данькины глаза, приговаривая:

— Топерь не будешь пялить глаза на мирское добро!

Данька упал лицом в траву, пытаясь росой остудить огнём полыхавшие глаза.

— Ничего, ожихарится, — сказал кто-то.

— Я ж говорил, что вор залез! Вы-ыследил...

Ушли.

Глаза не открывались, веки не чувствовали прикосновений, без удержу текли слёзы. Данька ползал по траве, обрызгивал глаза росой, и правый глаз открылся. Сквозь пульсирующую боль и резь Данька увидел раннее утро, серую ленту дороги, спотыкаясь, побежал по ней к реке. Он опустил лицо в воду, и правый глаз промылся. Данька видел осоку и облака, но на всё это он глядел словно сквозь розовое стеклышко. Левый глаз он открыл пальцами, но увидел только черноту с красными хвостатыми закорючками.

— ...Ах, звери, звери! — приговаривал доктор, от рук которого пахло корицей. — Ходим в народ, просвещаем, искры зажигаем и что же? А вот что... ах, звери, звери... Правый глаз созерцать будет, но капельки каждый час, каждый час, — говорил доктор матери. — Левый же — увы, увы...

С одиннадцати лет из-за бельма Даньку стали дразнить «оловяшка».

## 10

*«Под личиной музейного работника скрывался поповский прихвостень, агент империализма И. Ростовский (фамилия наверняка вымышленная), невыясненного социального происхождения. Он не давал ломать церкви. Он укрывал и не разрешал жечь иконы. Он сберегал религиозную рухлядь, надеясь на возврат власти царя и попов. Он, прикрываясь должностью заведующего музеем, запрещал убирать кресты с церковей и препятствовал смыванию золота с куполов. Мы его сразу не раскусили. Раскусили органы и направили его в нужное*

*место. А виноват в этом я — не разглядел врага перед носом! Я требую наказания себя по всей строгости революционного закона! Я искуплю свою вину, утроив силы в борьбе с врагами советской власти. Дайшь безбожную пятилетку! За это время мы выметим всех явных и замаскированных врагов. Впереди много работы. За дело, товарищи!»*

*Н. Савостиков, рабселькор, секретарь ячейки воинствующих безбожников (Газета «Колхозный клич»)*

В кабинете заведующего пахло олифой, скипидаром, канифолью. В большом чёрном шкафу в углу сводчатой комнаты Плотников увидел сломанные медные, латунные и серебряные оклады с пустыми гнёздами из-под камушков-самоцветов. В некоторых посверкивала бирюза, но камни были надколоты, в трещинах, покрыты грязью.

В трёх приземистых шкафах, таких же чёрных, исцарапанных, с выщербами в досках, стояли книги в кожаных переплетках. Это были жития святых, евангелия, Библии, месяцесловы. Один шкаф занимал многотомный словарь Эфрона и Брокгауза. В третьем шкафу стояли лечебники, травники, сонники. Лежали стопки журналов «Нива», «Палестина», «Вестник Палестины». Шкафы оказались заперты, хотя во всех трёх были утрачены стекла.

Ключи Плотников нашёл в ящике большого двухтумбового стола с зелёным бархатным верхом. Опираться сразу и все не стал, решив, что будет открывать по одному, когда займётся описью содержимого шкафов.

Разглядывая книги, он увидел среди обшарпавленных, надорванных переплётов один странный. Это были листы серой бумаги, явно самодельно прошитые просмоленной дратвой, стояли они вровень с высокими житиями.

Плотников через проём в дверце шкафа вытянул прошнурованную стопу листов. На титульной странице посередине округлым завитушным почерком было написано слово «Скоморох».

Он сел за стол спиной к окну, подставил страницу оконному свету, перелистнул. На второй странице сверху, под обрез листа — опять «Скоморох», но здесь слово это зачёркнуто прямой стреловидной линией. Плотников подумал, что это какая-то архивная исследовательская рабо-

та, но, читая дальше, удивился необычности текста.

Отдельно, словно эпитафия, глазастыми буквами опытного каллиграфа начертано:

«...И возвернулся на круги своя. Мальцом жизнь моя тут протекала, и вживе действия те возникают в видениях, к слову позавчер все жило и перстами утrogать можно...»

И ниже, мельче и плотнее, хорошо читаемый текст:

«Зиму ратовал с крысами. Хошь и мерзкие твари, а все жить хотят, за жизнь бьются. Я им потеху уготовил — не убийство, а наказание и других пугают: пымаю двух крыс да и свяжусь их хвостами. Ох, визгу! Грызут друг дружку, пока одна другой хвост не откусит...»

Весной упрости игумена — дал пергамент и вампишу с чернилами, и вот пишу. Думы в голове, как облака на небе: одно на друго ползет. Думами извожу себя и утешаюсь же оными!

Бродил по земле сызмальства. На четыре стороны путь расстилал. Был в студёных северных землях, зрел небеса васильковые, ветрами очищенные, для вольного духа сотворённые. Был в жарких землях, где люди песком дышат и где растут плоды дивные. Был в вольных краях, где христиане и разноверцы гомоном живут, беглых здесь привечают и житье сытно. К Камню хаживал, сыроедов видел, дальше пути нет — дерева часторядьем, птица, чаю, не облетит, и реки бурливы и злы, камень грызут.

Всё человека искал, коего вобрал бы образ и яко светоч держал бы в разуме, к слову первозданный образ Христа. Тяжкий труд человека такого найти! Находил затворников в скитах, схимников в земляных норах, отшельников в бревенчатых клетях. Оне духом жили и пришедших к ним дух укрепляли. И возгорался я нутром — вот он, огонь духовный, бери в образ жизни, следуй с благостью и верой! Ан нет! Не вмещала душа, не брала на себя столь погнетистый груз. Разум изнывал в сомнениях: нуткоть не забору естество свое и восцарит оно над душой. Ведь вкушал я плотского с великой радостью и желанием. Много грехов на мне...

Тянулся в жизнь, бытъта трава на вольной воле. Места наши лесные, речные и луговые. К слову бы появился я на заливном лугу в цветень-месяц — трав перевив, гул шмелиный и синий ход охладного ветра. На доньшке памяти это, а еще бег по лугу,

словно лет птичий: руки враскид, головёнка назад опрокинута, глаза по нибу скользят — и вдруг не чую земли под ногами, миг вольного лета, холодная мягкость воды и змеиное тело зелёной рыбины — упал в луговую ямину! Задержалась в ней поляя вода с очумевшей от голода щукой. Выскочил, вопя от страха! Видел: извиваясь, разметывая в воде серым хвостом плотную траву, шарит щука глыбкое место, а его нет — уходит вода в землю. Забилась щука в осотицу, утихла малая вода, торчит, подрагивает щучий хвост. Плачу мокрый, день не в радость, уверяюсь в то, что уж съела меня щука и мамка с тятькой ищут своего сына и не находят.

Тятька с вилами возник. Зашел в бочаг и приткнул щуку на вилы. Забилась большая рыбина. Тятька, как в ливень протек, вилы в землю жмет. Побилась рыбина и затихла. Тятька выволок ее на сухое место — в щуке больше пуда. «Ну, Филька, — говорит, — моли Бога, что жив остался, съела бы за милу душу!» Смеется. Радость, чай, не копну сена в избу понесли.

Опосля в прихворе али в задушистые бездонные ночи снилась мне страшная рыбина: пасть зубатая наплывает, глаза белые, жизнь из них словно в стоялой воде вымочена, и тятька с вилами на спасение по верхушкам трав летит. Жуткие сны...

Так и вышло — тятька на бегу смерть принял от польского палаша, и мамка с им в неразлучье осталась на опушке леса.

Вынесло на село наше летучий отряд из войска пана Лисовского. Он на Дольск шёл. Мы с лугов увидали, а уж слыхом наслыхивали о нашествии. Кто с чем — к лесу, они — вдогон, и у поросляка настигли. Тятька сзади бёг, приохранял нас, его и срубил первого. Мамка толкнула меня в спину. Я в беспамяты под трухлявый корень зазмеился, стих, усохутился. До теми сидел. Пес наш меня нашел, скулил и щёки лизал.

Село наше сожгли, народу полсела сгубили.

Тятьку с мамкой похоронили. Я разумом забылся, ушел в лесную Иван-деревню и ослаб там в болезни. Дедушка за мной приехал и увез в родное село.

С тех пор вошла в мое нутро тяга на вольность. Выйду, бывало, на берег реки и гляжу за луга, опосля встану и пойду. Возвратили меня люди, а я всё на дорогу стремился.

Подрос, скопил силы и на весну ушёл из села.

Земля ещё не обласкалась солнцем. Трава в ни-

зинах прихвачена стужливой примерзью. Белая сыпучая роса опятнала едва нарожденные приклеистые листочки. Я шёл на зарю, как на раскаленный печной огонь, и душа поднималась, словно подталкивала меня — иди, счастье там, добро, мир в чудесах! Шёл, исхлестывая мокрой травой дедовы бахилки — последние бахилки, плетённые стариком. Не увидел я больше дедушку на белом свете. Думал, за счастьем шёл, а беду за спиной оставил...

У Иван-деревни — голубец с иконой и дорога на город. Сидит на холмике парнина-кряж, обувку разматал, ноги вымочены до белых морщин, пальцами шевелит, устал дорожку мять. Меня увидел, засмеялся, просянно так, сердечно, словно брата встретил. Глаза у парня синие, удивление в них, словно при рождении поймали глаза мирское чудо и не стали больше ничего принимать из этого мира. Бородка на лице парня с мягкими, как тростниковые метелки, волосами.

Я хотел мимо пройти, он окликнул:

— Эй, мышка-бегушка! Из зорной норки убёг, ан зёрнышек не припас. Ступай, хлебушка дам! — вынул из котомки полкаравая.

Я подсел к нему, с благодарностью принял хлеб, а его уважил сушёной репой. Она с лета солнце с мёдом в себе хранит. Сперва её у нас на солнышке привяливали, опосля в печи на жаровне досушивали. Репа сверху обсахаривалась, а внутри, как в глиняном горшке, сок заваривался...

Едим и улыбаемся, друг на дружку глядячи. Пригрето я себя почувал подле этого странника.

Поел он, отвернулся, и услышал я залиvistый соловьиный посвист, даже головой закрутил — где тут на приполье соловьи уюстились... Опосля уразумел — это парень соловьиную трель языком выводит. Он тут же вороной заграчил, крикнул уткой, зашипел гусем и вдруг завыл волком, затяжисто так, тоскливо. Меня аж в холод бросило, думаю, вот сейчас кинется парень оземь и обернётся матёрым широкогрудым серяком с калёными жёлтыми глазами. Но парень уж собакой залаял, заскулил домашним приласканным псом, когда тот хозяина издали видит и несётся навстречу, радуясь собачьей радостью. Потом опять перешёл на птичьи посвисты, словно бы стаи птиц над нами закружились.

Я такого не слыхивал и не видывал, и сидел за-

таённо, боясь спугнуть эту чудную разноголосицу, сотворённую одним языком.

Парень натешился вволю, повернул ко мне доброе лицо, ткнул себя пальцем в грудь, сказал кротко:

— Фока-голосник!

Пошли мы с Фокой, большой да малый, по весенней пророждающейся земле в город, невиданный мной.

Фока говорил мало, больше свистел да улыбался. Я же уставал от бессловья, говорил ему всякую всячину о своём селе — больше я ничего и не знал. Фока слушал, удивлялся, кивал головой.

Ночевали мы где Господь уложит: в стожках, санных сараях, в охотничьих шалашах, рыбацких землянках. Один раз угнездились в пустой берлоге, пропахшей коровьим запахом отощавшего медведя. Я узнал, что медвежья берлога так знакомо пахнет коровьим хлевом. На дне берлоги, на примятом хвойном лапнике, клочковатились бурые очёсы жёсткой шерсти. Я долго не засыпал — ждал медведя. Казалось, сейчас заслонит звёздное небо тяжёлая короткоухая голова, бешено рывкнет на незваных гостей и обломится в вольный просвет могучая яростная туша.

Фока спал враскид, всхрапывал и чмокал губами. Фока не боялся медведя, он знал, что весной медведь в зимнюю берлогу не воротится. Я пригрелся к Фокиному боку и уснул. Снился мне медведь. Гулял он в небе меж звёзд и к берлоге не спускался...

В селениях ночевали мы редко. Многие обходили стороной, и всё из-за Фоки. Он говорил:

— В этом селе мужики злые, — качал головой, закрывал глаза, морщился, показывая, как страшны в этом селении мужики.

Я сперначала не понимал, опосля прояснил...

Коли харчи кончались, а он в село не мог идти — посылал меня. Я шёл по избам за подаянием, набирал узелок. Удивлялся про себя: Фока бает, мужики злые, а они добрые — поговорят да подадут.

В некоторые селения Фока заходил. Его все знали.

— А-а, Фока-блудодей пришёл!

— Мальца привёл, не твой ли выродок?

— Фок, а Фок, Ахримья овдовела, заверни к ней на постой...

— Мотри, Фока, наших девок оласкивать почнёшь — бока намнём!

— *Посвисти, Фока, мальцы просят...*  
 Фока изображал птиц и зверей. Заговорил чужими голосами. Поднялся хохот, крики:  
 — *Ива-ан! Слушай! Это ты, ей-богу!*  
 — *Ну-у, чисто батюшка Фёдор!*  
 — *Слышь, слышь! Ерофейка приказной! Он, заправду — он!*  
 — *Бытьта в нутре у Фоки Сипатр усохутился...*  
 — *А-а-ай!* — тишина, закрестились сельчане, напрялись. Услышали люди тяжёлый, бурливый голос покойного кузнеца Мины:  
 — *«Лошадь подкую, а на топор неси своё железо! Ночью пойду по избам свои выковки собирать. Откуп готовьте. Ночью пойду-у-у!»*  
 — *Мобыть, взаправду кузнец в Фоку уместился, оне оба тушистье?*  
 — *Полно се! Он, чай, голосник!*  
 — *Страшно, батюшки, ажник стыльбу по коже прошлось...*  
 А Фока уж частил женским визгливым голосом:  
 — *Ой, бабочки, чово ж я съела? На брюху ерык и тресь. Ой, шевеление чую! Бытьта кто кувырдается во мне!*  
 Смех:  
 — *Луке-ерья! Она поисцьт любит!*  
 — *И не токмо поисцьт...*  
 Фока кобенился:  
 — *Ой, подружки-бабоньки! Что поела — не скажу, испугалась, что рожу!*  
 — *Роди-ит! Она уж на сносях осьмым! Ха-ха-ай!*  
 Знал селение Фока.  
 Ночевали мы в избе бобыля. Бобыль давно умер. Изба истачивалась гнилью, припадала к земле.  
 Фока засвирликал сверчком, обживая неуютную темноту оплошной избы.  
 Я, умаянный дорогой, скоро уснул на полатах. Разбудили меня два голоса из сеней. Бабий, протяжный, стонущий, словно бы и беда в нём, и счастье:  
 — *Фокушка-а! Смертушка ты моя! Ой, ослабони, ой-й, сладкай ты... Ай-й!* — застонала сдушенно, словно ткнулась лицом во что-то мягкое.  
 Тяжело скрипели половицы бобыльей избы, шурхало сухое сено. Утихло разом. Шёпот Фоки:  
 — *Инда травка шёлковая...*  
 — *К тебе, крапивой мыла, — усталый, дрожащий женский ответ.*  
 — *Пахнет, как от лесавки... Дай ягодку поищу!*

— *Щекотно, Фокушка... Томливо как, и до избы не дойду!*  
 — *Лежи до зорьки, сугревно тут, остудиться не дам...*  
 — *Тятька хватится, бьёт сильно... Скоро ли в обрат пойдешь?*  
 — *Не ведаю, тропинок много.*  
 — *А ты воротись, ждать буду!*  
 — *Ворочусь... — ровно, безнадежно, ласково отвечал Фока.*  
 — *Куда топерь путь держите с мальцом?*  
 — *В Дольск, на ярманку.*  
 — *В Дольске воевода новый, баят, злой — пришлых на съезжую волокут.*  
 — *Я заговоренный, спать хочу...*  
 — *Поговори ещё, больно слова ласковые у тебя... Где только сыскал!*  
 — *На земле, в травах, лесах... Крапивой пахнет... — уже задремисто, несвязно говорил Фока.*  
 — *Ну, коли пойду, — сказала женщина. — Обойми на прощание...*  
 Стрельнули половицы, шурхнуло сено, сдвинулся засов на двери.  
 — *Прощай, Фокушка!*  
 — *Прощай, Фиса!*  
 Зевнул Фока и грузно повалился на сено в долгий сон.  
 У меня сердце колотилось от услышанного. Видал я, как любятся бык с коровой, жеребец с кобылой, как петухи топчут кур, а человечью любовь не удостоился зреть. И вот пришла она в словах неслыханных, в шёпоте и ласке... Калило внутри. Хотелось выскочить в ночь, на волю, и по росной траве бежать к реке, припасть к воде и пить, пить...  
 Фока храпел тонким горловым храпом, и его сон будто сдерживал ход времени. Ночь нешелухнато стояла, облепив избу бобыля плотной чернотой. Хотелось скорого утра.  
 Разбудил Фока. Словно топором перетянул сон и явь — закричал над головой звонким петухом.  
 Спрыгнул я с полатей, а Фока стоит — голова в матицу упирается, смеётся, как светлый день. Треснутые бычьи пузыри на окнах прокалывают острые лучики пыльного солнца — день уж занялся, спали долго. Помолились на пустой угол — и на волю! Небо золотое, в синих лужах, тёплое. Мы — к реке. Пали с разбега, как два деревянных подпила, наотмашь, с брызгами в её прозрач-

ность, звонкость, ласковость. Прыгали, ныряли, крутились, словно гладкие налимы, в охватившей нас единой радости. Умиrotворённые, вышли на берег, долго сидели, молчали, глядя на чешую реки.

Фока развязал большой узелок из чистой холстины.

— Пока ты спал, я уж хлеб испёк, масло сбил, — сказал хитро.

На холстине — каравай, топленое масло в берестяном загибе, кусок сала, ковалок плотного творога. Ели, благословив этот Божий дар. Весенний густоцвет окружал нас, и мы притихли в нём, как две поднебесные букашки. Так хорошо жить было!

Берегом реки вышли на просёлочек, неспешными ногами стали уминать вёрсты, правя в большой город.

По большаку двигались в город подводы, или пешие с котомками из ближних сёл, или бабы с детьми. В благообразной нарядности людей чувствовался праздник.

— Не ждали, не гадали, а к Троице успели, — сказал Фока.

Тут накатила на паломников первая робкая волна далёкого звона. На излёте, слабеющей силой она чуть толкнула странников и распласталась по луговому раздолью обочь дороги. Люди закрестились, заговорили радостными голосами:

— Слава те, Господи, дошли!

— Сила-то, сила!

— Топерь большого звона жди!

За первой волной звона наплыла другая, сильная и ясная, она пронеслась над головами и ушла через редкий придорожный березняк на дальний лес. Через короткий промежуток пришла третья волна звона, а потом без разрывов поплыл в тёплом воздухе переливчатый мягкий небесный гул.

Звонили колокола монастырские, посадские; окраинные колокольни подхватили звон большого соборного колокола. Ударили колокола в ближних селах позади идущих, и воздух закружился в причудливом благовесте...

Первый раз слушал я Красный звон множества колоколов, хотелось молиться и плакать. Фока глядел на меня и понятливо смеивался.

Люди, войдя в звон, остановились и стали сотворять крестные поклоны. Пронзительным голосом закричал юродивый, протягивая оголившиеся

с синими жилами руки к небу, словно хотел ухватиться за звон и вознестись по его закрутности в осиянное небо...

И увидел я дивный Белый город: церкви — золотые купола, прогонистые, на два порядка, улицы в разные стороны, избы с высокими подызбицами, стены монастырские — мощь нешелохнутая! Люди, подводы, голоса, крики... Замлел я в этом завихрении. Фока за рукав держал, а то бы потерялся.

Вышли на берег. У воды — коричневые избы. В такую избу и спустились по глинистой тропке.

В сенях откликнулась жёнка в чёрном полущалке:

— А-а! Фока! Ждал тебя Увар на Николу, а теперь помирает!

— Вот нечистая сила! — в сердцах выкрикнул Фока. — Звон какой, торжище вскорости, я пришёл, а он помирает! Погодил бы...

— Он бы погодил, да... — не решилась до конца сказать женищина.

— Увар! Увар! Ты пошто, сердешный! — Фока шагнул в горницу.

Я — за ним.

Исхудавший мужик лежал на лавке под овчинным тулупом. Повернул голову на голос Фоки, глянули на нас уходящие из земного мира тоскливые глаза.

— Фока! Пришёл! — сказал он слабым голосом, исказившись в начальной улыбке. — Я вот никак не помру. Не берёт Бог, хошь и оособоровался...

— А ты погоди умирать, давай на ярманку сходим, ты мне охолоньку пособишь держать, я потешек накликаю! Как я без тебя-то?

— Сил нет... без меня... мальца, вон... — Увар тяжело задышал, закашлялся.

— Встань, Увар, встань! — твердил Фока, испугавшись такой близкой кончины друга.

— Прости Христа ради, Фока, руку дай! Поликушек моих возьми, а на торжище не ходи — воевода лютый. За горловые игрища на съезжую волокут. Уходи, один помру... — простонал высоким стоном вслед: — Меня не порочь, або плох я, пусть весёлым помнят!

Женка Увара выслезилась правду:

— На съезжей за поликушек били да семь ночей в сырой клетке держали. Он и вдохнул мёртвую хворь...»

Плотников не услышал шагов по лестнице, сдержанного стука в узкую дверь, дёрзания за дверную ручку снаружи. Станный текст оглушил его, увёл в сотворённую неведомо кем реальность. Перелистывая жёлтую шершавую страницу, на секунду отвлекшись от написанного, вдруг ощутил присутствие в комнате постороннего.

— Пришёл засвидетельствовать своё почтение, — сказал человек от двери. Снял мятую, в известковых затирах шляпу, пригладил длинные седые волосы. Серые тусклые глаза, выступающие скулы, сутулость и худоба под длинным чёрным плащом. — Про меня вам, верно, поведал злоязычный Аристарх. Можете не отвечать, я знаю. Я бы удалился из сей обители, гонимый нуждой и непониманием, но, памятуя о счастливом времени служения Господу, остаюсь здесь и не ропщу.

— Батюшка? — определил Плотников, ощутив вдруг весёлость от озорчатой речи вошедшего.

— Бывший! Теперь я Рафаил Никандрович Демокритов, — тихим, ровным голосом продолжал вошедший. — Бывший, ибо, как говорит велеречивый Аристарх, поп без прихода, словно жеребец без телеги... Видите, человек, дошедший до самоуничтожения, приближается к божественному! Позвольте присесть? — батюшка сел на резной стул с высокой спинкой.

Плотников схлопнул тетрадь.

— Сии письма мне ведомы, — мельком взглянув на самодельную тетрадь, сказал Демокритов. — Я часто заставал Ивана Михайловича за начертанием в сей тетради. Теперь судьба его в руках Господа. Будем уповать и молиться, чтобы вас не постигла его участь... А я пришёл к вам вот за чем. Особо чтимые образа и утварь из Смоленской церкви мы с Иваном Михайловичем и — справедливости ради — греховодным Аристархом спрятали от дурных глаз в притворе Казанского храма; он сухой и на запоре. Я нижайше прошу: занесите их в реестр вашего музея, дабы сохранить как общелюдское, приходское добро. Иван Михайлович в намерении был, да козни дьявола... — батюшка перекрестился на высмотренную им в углу комнаты большую соборную икону с апостолами Петром и Павлом. Сквозь почерневшую олифу едва проступали фигуры святых, и только два нимба из сусального золота сдержанно поблескивали в дневном свете.

Речь батюшки Демокритова прервал скорый топот по крытой галерее. Дверь без стука растворилась, и передёрнутое тревогой шершавое лицо Аристарха возникло на пороге:

— Я тебя, гражданин-товарищ Семён, предупреждал! — запыхавшимся голосом вполукрик начал он. — Намедни в чайной, сейчас — вон, по двору разгуливают вместе с Бакиным, высматривают что-то! Значит, рушить будут — это как бог свят! — и разъярил батюшке Демокритову: — Плохие люди появились! Теперь их никакими попами из города не выкрестишь...

## 11

Елагин с Дашей ходили на танцы в ведомственный клуб. Он располагался в одноэтажном, длинном, унылом здании из серого кирпича, прилепившемся к высокому кирпичному забору, за которым возносились стометровые трубы городской ТЭЦ.

Сначала играл клубный оркестр: длинноволосые парни били по струнам гитар, колотили по медным дискам и штопаным барабанам. Музыканты в коротких перерывах уходили за сцену и поочередно пили портвейн, разливая его из трёхлитровой банки.

С каждым выпитым стаканом усиливался грохот музыки. Парни уже почти не слышали друг друга, каждый играл для себя. Мелодия, и без того шершавая, теперь билась вдребезги: дико выл саксофон, улюлюкала флейта, труба голосила лосиным гоном, а ударник, парень с мускульной накачкой, багровый и потный, бил палочками с таким остервенением, словно во что бы то ни стало решил привести их в негодность.

Молодёжь в зале месила ногами по задраным сучковатым доскам пола, изображая разновидности каких-то быстрых танцев: то ли шейка, то ли твиста, то ли буги-вуги. Но скорее всего это был вытоп танца, именуемого в народе «кто во что горазд». После портвейна суставы выворачивали неведомые кренделя — главное, дёрнуться в непредсказуемом коленце ритма, швыряемого музыкантами со сцены в зал.

Елагин всегда приходил первым и ждал Дашу, и всегда она появлялась неожиданно: розовощёкая, улыбочивая, чуточку возбуждённая возникала из тёмного коридора, где светилась узкая но-

ра кассы. От неё шел свежий морозный свет: от синих (с холода — густо-синих) глаз, влажных губ, каштановых, припудренных инеем волос, свитых в крупные локоны. Она сглаживала мокрый ворс чернобуркового воротника шерстяными, разноцветной вязки варежками, затем стряхивала их с рук — и они повисали на длинной резинке. Елагин брал Дашино пальто, сдувал оставшиеся капли с меха и подавал его в квадратный проём раздевалки; в обмен получал фанерный, затертый до черноты номерок. А девушка в это время снимала зимние сапоги и надевала туфли. Сапоги в матерчатой сумке гардеробщица тоже вешала на крючок с её пальто.

Два-три вскида волос перед зеркальной стенкой — и в зал. Они стояли у стены, прикоснувшись друг к другу плечами. От Даши шёл жар, а она вдруг сказала Елагину:

— От тебя — как от печки! Ты не заболел? — засмеялась и слегка толкнула его плечом.

К этому времени на сцену выходил руководитель, представлял свой оркестр и каждого участника ансамбля «Орфей». Зал захлёстывали аплодисменты: все знали солистов — оператора котельной Стаса Исакова, выступавшего под псевдонимом Сакс, и крановщицу Галю Радугину, псевдоним — Радуга.

Сакс и Радуга узнаваемыми голосами столичных песнопевцев исполняли лирические песни. Как могли, повторяли сценические жесты популярных артистов.

Со второй половины вечера солисты вместе с музыкантами принимали за сценой портвейн: Сакс — стаканами, Радуга — по глоточку. После этого они начинали фальшивить: «давать петуха», не попадать в ноты. Вместо них включали фонограмму, а солисты, уединившись в подсобке за сценой, жадно целовались.

Часто к микрофону выходил руководитель ансамбля, пел патриотические, комсомольские песни из репертуара Кобзона и Лещенко.

Пичугина и Елагин танцевали только медленные танцы. Она накладывала руки на его плечи, он брал её за талию, и они, отрешась от грохота музыки, песен, смеха и говора рядом танцующих, словно замирали в этом коротком отрезке жизни, видя и чувствуя лишь друг друга. На Даше было зелёное блестящее платье с двумя серыми боковыми клиньями, делающи-

ми её фигуру ещё более изящной. Елагин говорил ей какие-то незапоминающиеся слова. Она хохотала и откидывала голову назад, и на её гладкой, цвета топлёного молока шее выступали голубые паутинки жилок.

После танцев они шли по заснеженным холодным улицам к её общежитию. Сначала с ними шла галдящая толпа, потом она редела. Оставшиеся парочки сознательно отдалялись друг от друга, уединялись в тёплых подъездах.

Даша с Елагиным тоже находили свободный подъезд. Она сбрасывала варежки и грела руки на батарее. Потом они целовались. От Даши пахло снегом, духами, шоколадом. Её любимыми конфетами были шоколадные «Кара-Кум». Им становилось жарко. Елагин расстёгивал куртку, она — пальто; прижимались друг к другу и застывали в какой-то общей судороге, необъяснимое состояние абсолютного счастья охватывало обоих. И времени уже не существовало. Но от него разве скроешься?

Даша вздрагивала:

— Опочки! Вахтёр двери запрёт! Опоздала!

Они отрывались друг от друга. Елагин застёгивал на ней пальто, чиркал спичкой, смотрел на часы. Потом они бежали к пятиэтажному общежитию, которое праздничным теплоходом с жёлтыми огоньками в окнах выплывало из полутемных соседних домов.

Прежде чем запереть двери, вахтёрша выходила на площадку перед общежитием и привычно говорила девчонкам и провожающим их парням:

— Ну, ца-алуйтесь напоследок — и спать, а то двери запрутся!

— Тётя Паша! Тётя Паша! — кричала Даша, видя, как женщина медленно поворачивалась к дверям и протяжным шарком шла за последней девчонкой.

Та оборачивалась, шурилась на подбегающую девчонку, узнав, одобрительно ворчала:

— А, Пичугина, передовица наша! Вон какая счастливая, хоть в витрину выставляй! А где кавалер-то? Проводил ли?

— Проводил, тётя Паша, чуть не опоздала...

— Я-то его знаю, с комбината?

— Нет!

— А где ж работает?

— В газете...

— Вона какого отхватила! — искренне удивлялась вахтёрша, тут же озаботившись, предупредила: — Похитрей будь, оне хлюсты избалованные! Не успеешь оглянуться, а уж пузо вырастет... — и скрывалась в своей каморке.

Время снова замирало, а потом начинало ночной зимний бег по безжизненным улицам. Сзади оставалось невозвратное и неповторимое мгновение, которое, словно золотое колечко, сорвалось с пальца и потерялось в снежных затопах серой дороги. Попробуй вернуться, найди его, если потерю не ощутил сразу и не знаешь, на каком отрезке жизни оно потерялось и в каком месте его искать.

## 12

*«Осуждаю!»*

*Я, преданный рабоче-крестьянской власти житель города Николай Савостиков, из-за чувства презрения не могу написать отчество. Отец мой, огородник и торгош, всю свою жизнь не отрывал лица от земли. Теперь, когда наша власть дала ему свободу и запретила изнашивать силы на земляных работах и торговать для наживы, он взаперти дома стал агитировать близких — родную жену, т.е. мою малограмотную мать и дочь — мою сестру, против советской власти. Он говорил: «Пришли большевики к власти — голод наступил! Со страху возвернули купцов, и появилась в магазинах икра и рыбка всякая, и мясо, как при царе». Мамаша моя ему поддакивает: «Ой, не говори, Федя, хоть бы городок-то наш власть в стороне оставила или забыла про него вовсе. Там бы у себя и строили всякие коммунизмы, а мы бы по-старому тихонько дотягивали, может, тогда и не перевелась бы у нас рыбка благородна...»*

*А сестра моя о богатых женихах думает и отца с матерью поддерживает. Они ей тоже огородника подбирают. Вот с такой компанией мне приходится вести борьбу. Все средства агитации я уже израсходовал и теперь только молча обливаю их презрением.*

*Мы должны единодушно осудить таких случайных родителей. Я всенародно осуждаю!»*

*Н. Савостиков, рабселькор (Газета «Колхозный клич»)*

*«Отрекаюсь!»*

*С чувством благодарности к родной советской власти, партии большевиков воспринял я известие о приговоре суда моим бывшим родителям! Таким не место на освобождённой земле. Пусть злобствуют вместе с кулаками и попами в уготованных им местах. Я отрекаюсь от своих преступных родителей и, чтобы облегчить тяготу позорной фамилии, подписываюсь под статьей в нашу газету не Савостиков, а Советский!»*

*Н. Советский. Секретарь ячейки воинствующих безбожников (Газета «Колхозный клич»)*

— Кичигин! Огарышев! Перескок! Прощаев! Демокритов! Комшилов! Дергоусов!

— Я!

— Здесь!

— Тута!

— Есть такой!

— В наличии!

— Аюшки!

— Дергоусов где?

— До витру побег!

Хохотнули.

Ещё было настроение у этих шестерых. Утреннее возбуждение от солнца, обручем зацепившегося за кирпичную острию монастырской стены, прихватило их. Уходящая от тёплого воздуха знобкость ночной прохлады расплзалась по бесчисленным закуткам. Мокрая зелень вишневого сада иногда чуть подрагивала от случайного ветерка, по ошибке залетевшего в эту нешелухнутость.

Внутреннее пространство монастыря словно было залито прозрачным тягучим сиропом, в котором застыли кусты, деревья, трава, воздух, звуки и даже голос начальника предзака, выкликающего списочных арестантов. Отклики шестерых заспанных мужиков не разлетались, а вклеивались в этот розовый сироп и зависали в сжатом пятачке вновь созданного кусочка непредсказуемой жизни.

Так устроен человек: в любом искусственно созданном куске невыносимо тяжелой жизни, едва оправившись от начального ужаса и отчаяния, он вдруг интуитивно начинает искать крохи хорошего. Так в тёмной комнате судорожно ищет взгляд иголочку света и, найдя, успокаива-

ется человек и держит её немигающими глазами, словно ниточку, на которой висит его земная жизнь. Пропави эта светоносная струнка — и нет человека! В голоде, холоде, несчастьях и бедах находит человек добрую крохотульку, спасающую его вначале.

Верующих спасает вера, неверующих — хитрость.

Кичигин, Огарышев и Прощаев были потомственными огородниками. Выращивали лук, капусту, огурцы. У каждого на огородных плантациях было по три-четыре батрака, а весной и осенью нанимали они по десятку копалей-сезонников.

Демокритов — священник из храма Смоленской Божией Матери. Перескок — староста этого храма. Комшилов — кустарь из артели инвалидов, плёл корзины. Инвалидом Комшилов не был, но патент исхитрился получить бесплатный. Разоблачил его сосед, которому «инвалид» Комшилов на Пасху разбил нос и обозвал «шаромыжником». Сосед написал «куда следует», и Комшилова привлекли, но он не понимал, почему так строго.

Седьмым сидельцем предзака был приказчик из рыбной лавки купца Слабышева Савка Дергоусов — парень двадцати трёх лет, кудрявый, жилистый, неусидчивый.

Лавка Слабышева располагалась в середине торговых рядов. Место выгодное: иди за любым другим товаром — обязательно пройдёшь мимо. Опанёт тебя запах такой густоты и вкусности, что мгновенно наполнится рот слюной, заносит в желудке и нарисованный на доске коричневый осётр в окне завлекательно подмигнёт выпуклым глазом.

В лавке с порога бросятся в глаза две деревянные бочки высотой по грудь среднеросту. В бочках — чёрная икра.

— Вам посуше или пожижей? — спросит покупатель приказчик.

— Пожижей... — скажет зашедший любитель икорки.

Приказчик переломится туловищем в бочку, залосненно сверкнут на заднице раздвоенные посередине порты. Хлюпнет деревянным ковшом у самого дна; а когда выпрямится он, то в ковше сверкнет глянецом мелкая липкая крупа в рыбьем жире.

— Улов, однако! — похвалит содержимое ковша приказчик.

Опрокинет икру в глиняную плошку покупателя, загодя взвешенную, определит гирьками вес товара и, обтерев ладони о холщовую тряпку, примет деньги в выдвигной ящик под прилавком.

А если покупатель любит икру «посуше», то приказчик ковырнёт деревянным лотком в бочке рядом и скинет рассыпчатую горку в посуду на весах. «Пожиже» икра начиналась с середины бочки.

Приказчик Дергоусов поплатился за свой язык. Он часто болтал что ни попадя. А тут явился завхоз из музея Аристарх. После глухого звяка колокольца над дверью, извещающего о приходе покупателя, вошло это музейное сурло — красное, небритое, с воспалёнными шуристыми глазёнками, в офицерском английском френче с отпоротыми нагрудными карманами.

Френч обломался по костлявой фигуре Аристарха: на ключицах топорщился, на спине горбатился, на груди вдавился яминой, и серые прямоугольники на месте карманов напоминали газыри на черкеске. На голове его инородно торчала зелёная фуражка с «ушами», застёгнутыми большой пуговицей на макушке.

— Здорóво живёшь, элемент! — прозвенел Аристарх, придавливая ногой дверь за собой.

— Здорóво, коль не шутишь, дядя Аристарх! — в тон вошедшему с игривинкой ответил Дергоусов, усердно скобля тупым тесаком дощатый прилавок и сдувая на пол грязные катышки отстрога. — Какой я тебе элемент? Я работаю!

Аристарх подошёл к прилавку, потянул ноздрями воздух с просолами из тмина, укропа, лаврового листа, копченостью и продолжил, видимо, накануне вызревшее рассуждение:

— Я ить тебя, Савка, с зелёных соплей знаю, и отца твоего, и деда, тоже Савелия, — они все батраками были. При новой-то власти твой отец с красной тряпкой по городу бегал, к свободной жизни призывал. Ему в рядах нос раскровенили, дак он из губернии красную гвардию призвал. Тогда многих купчишек за портки взяли... А ты, значит, от отцова дела отрёкся и опять — в батраки? — Аристарх хитро поглядывал на набухающее злобой скуластое лицо Савки.

— Мы от новой власти чуть с голоду не подох-

ли, — зло зашипел Дергоусов. — А за кусок хлеба пойдёшь хоть в батраки, хоть в элементы. Теперь эта новая власть со страху купцов возвернула — жить-то хотца...

— Да, Савка, сума ты перемётная! — затынул Аристарх. — А ну как опять купчишек начнут придушивать, заодно и прислужников вроде тебя? Вчерась, вон, в предзак опять человек десять заперли, говорят, элементы... Нова власть — она ого-го!

— Накрал я с горкой на твою новую власть! — выкрикнул Савка. — Ты зачем пришёл? На рыбу у тебя денег не хватит. Лапсердак твой в залог не возьму — говно! Так что беги ты враскоряку, дядя Аристарх, к своей новой власти!

В это время брякнул колоколец — на пороге лавки возник Савостиков.

— Ещё один рыбачок, — буркнул Савка.

Савостиков слышал последние слова отсыла к новой власти и сразу солидно вмешался:

— Это о какой новой власти ведёте разговор?

Аристарх, умудрённый многолетним опытом изворачивания, с ходу ответил:

— У нас топерь одна власть, вот мы её и хвалим! Когда это видывали, чтобы икру да разных севрюг — ешь не хочю!

— Нэпманы — это не власть, а послабление, — отрезал Савостиков. — Погодите, скоро им советская власть висюльки-то защежит! А икра — еда буржуазная, ей сыт не будешь... — И совсем уж миролюбиво Савостиков спросил у приказчика: — Где Слабышев?

— На закупках в Нижнем, — ответил Савка. — Третьего дня обещал быть...

— Помголу он ничего не отписывал? — поинтересовался Савостиков.

— Вчера ещё снарядил короб, там стоит, — кивнул Савка на дверь подсобки и двинул туда.

Тужась, он вытащил плетёный короб с прижатой к крышке запиской на серой ворсистой бумаге. Крупно — «Рабкрин».

— Ты что, читать не умеешь?! Написано — кому! — упрекнул Савостиков.

— А-а, итит... — заблажил Савка. Утащил короб в подсобку и приволок другой, такой же, только с надписью на листке «Помгол».

— Братская помощь трудящегося купечества голодающим рабочим! — озвучил эту процедуру Аристарх.

— Мы-то помогаем, — ответил Савостиков, приподнимая короб. — И в газете пропишем об этой помощи. А вот вы, музейные, маловато даёте пролетариату! — И к Савке: — Я сейчас в пролётку крикну, — сразу и вышел на улицу.

— Что, прожорлива власть-то? — провожая глазами Савостикова, спросил Аристарх.

— Эта крыса кажинный месяц приходит, и всё — для голодающих! А сами в ячейке жрут... Из Рабкрина ещё три рыла, и все голодные! А попробуй не дай — в труху сотрут. Любой, кто чуть-чуть власть, — дай! А ты говоришь «элемент»...

Вечером, напившись до абсолютной свободы, Савка Дергоусов истошно орал у тумбы с афишами в центре городка о том, что он знает всех врагов городского народа и назовёт их имена, если его примут в тайную партию анархистов. Потом Савка обрывал с тумбы неплотно приклеенные афиши. Те, которые не срывались, он скоблил ногтями, вытянувшись у заборного столба. В завершение вечернего действия, словно кот, обмочил тумбу. Хотел пустить струю до верхушки, но напора хватило только до середины, до антирелигиозного плаката, написанного Савостиковым: «Ударим по посту скоромной едой!»

Пьяный Дергоусов опрокинулся на спину, долго не мог встать, дёргал руками и ногами, словно лапками жук-пльвунец, перевёрнутый на покатуую спинку. В таком виде его подобрали два милиционера и увели в участок.

Савка материл власть рабочих и крестьян, плевался и плакал от обиды на свою несбывшуюся жизнь, в которой он представлялся солидным, богатым и уважаемым горожанином-купцом.

Следуя пришедшей из губернии разнарядке, согласно которой в ближайшие десять дней органами местного НКВД должно быть изобличено в городе минимум пять врагов народной власти, Дергоусова зачислили в этот список и на следующий день трезвого и ошарашенного перевели в монастырский предзак.

В большой комнате с решётками на окнах и узкими деревянными топчанами Савка освоился быстро. Сокамерников он знал, особенно двоих — Демокритова и Перескока, они были постоянными клиентами рыбной лавки. Снедь выдавалась им под запись. Расплачивались они ежемесячно, строго в первый день следующего за

расплатным сроком. Любили рыбку и огородники, но как-то беспорядочно: закупят сразу много — «словно на Маланьину свадьбу», как говорил Слабышев, а потом неделями не появляются в лавке. Они встретили Дергоусова как родного.

— Рыбкой запахло! — пошутил Огарышев.

Кичигин и Прощаев ссутулились на топчанах друг против друга и затёкшими от сна глазами мрачно поглядели на Дергоусова.

Глухо колотнул деревянный засов, стихли уходящие шаги милиционера. Савка заметался по камере: подёргал решётки на окнах — кованые, даже не шелохнулись, поковырял ногтем кирпичи на стене у пола — сухая спёкшаяся кладка.

— Ты бы сел, не сновал перед глазами, а то ища навлечёшь чего от милицейских, — пробурчал Кичигин.

— Чего — ища? Бежать надо, — сдавленно зашипел Дергоусов. — Ища... на губе повисла ша! Мне шепнули, нас в губернию повезут, а там могут шпокнуть без разбора... Бежать, пока не поздно!

— Это ж куда бежать? — зашептал Прощаев, вытягивая шею и вцепившись жёсткими заусенистыми пальцами в топчан. — От своего-то добра? Да у меня — огороды, самый рост сейчас, а ты — беги!

— Тебе нечего здесь оставлять — штаны в рассоле да фартук, — поддержал Прощаева Кичигин. — А у нас — земля, хозяйство...

— Будет вам хозяйство на Соловках! — уже ровным голосом, не боясь чужих ушей, говорил Дергоусов. — Из наших мест туда прямая дорога...

— Батюшка, а ты что скажешь? — повернулся Прощаев к Демокритову.

После молитвы батюшка в стёганой фуфайке на серую рясу сидел на лежаке и прислушивался скорее не к разговорам в камере, а к звукам, доносившимся снаружи: пришло время утренней трапезы, а кашу, хлеб и чай из зверобоя всё не несли.

— Так вот, батюшка, бежать Савелий уговаривает. За вами слово! — повторил Прощаев.

— Господь испытание дает, — ответил Демокритов. — Терпеть надобно, с молитвой всё перемагается. А бежать... куда? От дьявола только молитва оборонит, нигде не скроешься... — говорил он отрешенно, уверенно.

Староста Перескок в косоворотке и полосатом заюзанном пиджаке дёргал головой и как-то странно цокал языком, отчего у него кадык двигался челноком, словно затвор винтовки. Перескок по должности соглашался с батюшкой, но внутренне он скорее бы примкнул к Дергоусову, так как предчувствия его были тревожны.

— Какой здесь бог?! — в злобе на себя, на этих непонимающих людей, на смиренного батюшку, восседавшего в полутьме, выкрикнул Дергоусов. — Какой бог? — повторил. — Мы у чёрта в мешке! Вы как хотите, а я попытаюсь. Богу — богово, а мне жизнь дороже...

Уполномоченный НКВД Василий Бутов, степенно грохоча тяжелыми сапогами по ребристому полу, вошел в камеру и сел на табурет в пыльный прямоугольник утреннего света. За его спиной в открытом дверном проёме тенью застыл охранник.

Сидельцы чрезвычайно обрадовались этой природнённой за долгие годы крючковой фигуре. Каждый день Бутов в несоразмерно огромных кирзачах на тощих кривых ногах неспешно перемещался по городу. Форменная фуражка ободом лежала на оттопыренных ушах его, плешивое темя выпучивало линиялый тёмно-синий околыш. Хитрые жёлтые, как у взбудораженно-го кота, глаза воровато стреляли по лицам.

Широко расставив сапоги, Бутов положил на левое колено истёртую полевую сумку, вынул из неё сложенный кусок ткани от истлевшей простыни, расстригнутой женой Бутова на носовые платки. Обнажив голову, он медленно вытер лоб и плешину, затем — обод фуражки и нахлобучил её на правое колено. Всё это он делал так по-свойски, по-домашнему, что затворников мигом прорвало:

— Василич! — загалдели они. — Василич! Ты рассуди!.. Ты вникни!.. Отец родной! Нас-то за что? Василич, хрен ты моржовый, что ж ты молчишь?

Бутов обвёл взглядом таких знакомых ему горожан, поджав губы, солидно пошмыгал носом и произнёс, как всегда, непререкаемым голосом:

— Вот что, граждане арестанты! Вас словили сюда не для разных канителей и словесов, а как раз для прояснения вашего нутра! И ника-

ких друзей и панибратов у меня здесь нет, а есть служба!

— Да какие же мы арестанты! — испугались этого слова мужики. — Мы же тутешние, всё наше — на твоих глазах и на слуху. Зачем ты нас клеймишь, Василич?!

Бутов промолчал. Неторопливо вынул из сумки шитые драгвой в толстую тетрадь серые листки бумаги и короткий химический карандаш.

— Буду вас засекать на бумаге, — сказал он, крутанув кончик карандаша в обслонявленных губах, отчего на нижней губе Бутова обозначилась фиолетовая полоска.

Эти приготовления испугали мужиков, они как-то отстранились от Бутова, будто пытаюсь оттянуть время до момента, когда их начнут «засекать» на бумаге.

— А может, не надо, Василич, засекать-то? — робко спросил огородник Прощаев, в прошлую Пасху обцеловавший Бутова на Торговой площади.

— Не Василич, а гражданин чекист! — грозно произнесла тень охранника в двери.

Сидельцы с любопытством посмотрели на Бутова — теперь не как на Василича, а как на гражданина чекиста.

— Это тебе он — «гражданин», а нам родной горожанин! — сказал внезапно обозлившийся Кичигин, словно тень в двери отнимала у него близкого человека.

— Тэ-эк! С кого начнем! — начал Василий Бутов и выщуренными глазами перебрал фигуры арестантов. — Давай-ка с тебя, батюшка поп Демокритов, — и пошутил: — Бывалоча любая работа с попов начиналась... У меня вот тут написано: Демокритов Рафаил Никандрович. Из татар, что ли? — не дожидаясь ответа, продолжал читать в своей тетради: — Год рождения... Священнослужитель... Доход нетрудовой. Жена — попадья. Ныне вдовец. Детей двое. Весь род из поповского сословия! — добавил от себя Бутов, это не было записано в тетради.

И словно забыл Василий, что отец Сергей — такое церковное имя было у Демокритова — двадцать лет назад крестил сына, а через год — дочь Бутова. А сам он (в молодости — мастеровой артели отходников-кровельщиков) по

воскресеньям исповедовался и причащался в церкви, где служил Сергей, — значит, схлебнув кагор с ложечки, почтительно прикладывался губами к руке батюшки. И не напомнишь ему о том, как не напомнишь человеку о душе и совести, потому что настало время, когда душа и совесть — принадлежность церковная, а выходит, сейчас не нужная и даже вредная, как дорогой потир на нищей трапезе — вызывает зависть и раздражение.

— Господь с тобой, — только и сказал батюшка, когда Бутов закончил чтение о нём негнушимся, прохвастистым голосом.

А потом Бутов читал в тетради о старосте Перескоке с подробностями его обыденной жизни, в которой староста убивал бродячих собак, в молодости увёл лошадь у купца Жилина, перекрасил ей гриву и хвост в чёрный цвет и продал цыганам за полщены.

Дошла очередь и до огородников, и они плотно уместились в тетради Бутова. Эксплуатировали батраков. Нанимали копать огороды спившихся мастеровых с ткацких фабрик из Иваново-Вознесенска. Именно такие сколачивались в бригады весной. Без лопат-заступов кучковались они на базарной площади, снаряжать гряды не умели. Огородники учили их тычками и матом, штрафовали. После окончания сезона отпускали с копеечным выходом.

— А частник Огарышев, — словно поленья рубил слова Бутов, — кормил обманутых фабричных мясом дохлой свиньи. Без земельной сноровки рабочие падали на гряды в обмороки, их отливали водой, а на ночь запирали в сарай.

— Клевета! — закричал Огарышев. — Этот пьяный сброд сам напросился за кусок хлеба! Я по сердобольности, а — эн как извернули!

Бутов дождался тишины и продолжил обличение сидельцев предзака:

— Дергоусов — перерожденец. Отец его боролся за советскую власть, а он стал прислужником нэпманского купечества. Порочил власть трудового народа. Призывал к возврату царского режима...

Сидельцы поняли, что ничего «засекать» чекист Бутов не будет. Все уже «засечено» накануне. Изменить что-либо в записях невозможно. Арестантам даже не пришла мысль, что можно написать об их жизни по-другому. Написано —

как тавро на лошади — до самой смерти, только вместе со шкурой сдерёшь.

Бутов второй раз посплюнявил карандаш во рту и чиркнул какой-то значок в конце тетрадного листа. Мужики не узрели этого знака, — видел безликий и тёмный охранник в двери. Значок был фиолетовым крестиком под списком из семи фамилий.

Конечно, Бутов черкнул этот крестик не только без злого, но и вообще какого-либо умысла — так, для солидности, мол, работа закончена и следующую запись он будет делать после этого значка. Если полистать предыдущие странички, то фиолетовых крестиков на них было поставлено много. Так Бутов открещивал каждый свой этап работы.

Зловещий смысл вызрел в крестиках лет через шестьдесят, когда жёлтая тетрадь с ветшающими страничками попала в музей Дольска и научный сотрудник отдела книгохранения Вячеслав Кичигин прочитал имена сгинувших «врагов народа», в их числе — фамилию своего дальнего родственника — огородника, о котором в его семье упоминали, но как-то вскользь и вполголоса.

Для Вячеслава, носящего очки с толстенными стёклами, именно крестики первыми запрыгали на пожелтевших страницах, словно огородные клопы. Вроде того: в жаркий день раздвигаешь кусты смородины с надеждой на крупные ягоды, а на линзы очков липнет разная мелюзга — и вздрогнешь от неожиданности.

Вот такой примерно испуг возбудили в научном сотруднике эти вылинявшие перекрестья. Осторожно переворачивая страницы, прежде всего он видел кресты, и каждый раз у него потели стекла очков. Вячеслав снимал их и протирал коричневой бархоткой.

Утром сменилась охрана. Арестантов вывели на прогулку в монастырский двор.

Милиционер Бобунов пришёл на дежурство в мятой гимнастёрке и в будёновке с завалившимся набок шишаком. Бобунов сел на деревянную лавку, вынул кисет и свернул козью ножку. Он не смотрел на арестантов, которые разбрелись по площадке.

Вокруг высились деревья. Вишневые стволы от

старости растрескались. В разрывах коры, между бурыми закудрявленными ошмётками, выступила янтарная смола, в которой застыли толстые мухи, осы. Кое-где цветными тряпочками обвисли неосторожные любопытные бабочки. Там, где солнца попадало мало, вишневые деревья опаршивились серо-зеленой гнилью, и здесь неслыханно стоял кислый бражный запах.

У Бобунова болела раненная в Гражданскую голова. Тогда осколок снаряда раскалённой бритвой скользнул ему по макушке, снял волосы вместе с кожей, зацепил и тонкий слой теменной кости. Отлежав два месяца в лазарете, Бобунов, списанный вчистую, воротился в родной дом — в бывшую Кожевенную слободу в Дольске. Геройского красноармейца приняли на работу в пожарный отряд. Пожарным служить хорошо, когда пожаров нет: смену проспал, две — дома.

На первом же вызове — загорелся местный льнозаводик — хватанув дыма, Бобунов упал в затылочной обморок. Его откачали и уволили.

Поскольку заслуженному инвалиду нужна была не работа, а должность, уком комсомола направил его в «органы». Здесь и определили Бобунова охранником в предзак. К тому ж за него похлопотал милиционер Бутов, приходившийся ему свояком.

Единственное, что приносило облегчение больной голове Бобунова, — самогон и сон. Самогоном он утишал боль дома, а на службе подрёмывал в свободные от дозора минуты, а поскольку таких минут было много — вот хотя бы сейчас, в прогулочное время арестантов — Бобунов находился в дремотном состоянии большую часть казенного времени.

Да и что смотреть за этими арестантами? Бобунов всех их знает. Куда они убегут, кроме родного дома?! А если и случится такая каверза, то мигом перехватит шустряка Василий Бутов: словно стриж речного мотылька, тенью слизнет с воздуха — и памяти не останется.

С таким ощущением надёжности и предсказуемости настоящей жизни Бобунов, выкрутив короткую самокрутку, обсплюнявил острый конец, ковырнул в кисете порцию табака, загнул в кулёк верх козья ножки.

В эти затянувшиеся минуты Дергоусов присел к корню коряжливой яблони и, держа взглядом

кисет Бобунова, вильнул за дерево. Зажав дыхание, ждал окрика, но — тишина, и только чирк толстой серной спички и шипение вспыхнувшего огня обозначили спокойствие охранника.

Дергоусов распластался на влажной траве, в ноздри ударил запах гниющего наста. Савка спружинился и ящерицей завиял в кусты. Он то приподнимался на четвереньки, то прижимался животом к земле: уползал от прогулочной площадки к кирпичной стене; знал: там, куда он ползёт, есть дыра в монастырской стене.

Неведомо в каком веке монахи-населенники выкопали сточную — от дождевых вод — канаву. В фундаменте стены сделали проток метровой ширины, заковали этот пролаз решеткой. Но в разорительные годы местный кузнец позарился на неё: выворотил решетку в подтверждение своих атеистических убеждений и пустил на подковы принятым в колхоз лошадям.

Щербину в стене забили толстыми строгаными досками. На вторую ночь доски исчезли. Заколотили неошкуренным горбылем. Горбыль исчез через неделю. Завалили проток опилами берёзовых брёвен — думали, надёжно. Уволокли плахи за две ночи. Следы терялись на берегу реки. Сплавщиков не нашел даже милиционер Бутов. И тогда плюнули на эти хлопотные затраты и обсадили провал в стене ежевичной порослью. За два года колючие кусты так закупорили дыру, что не только люди — кошки не смогли бы пробраться в этот лаз, не оставив на ветках клочки шерсти.

Но мальчишки с Береговой улицы освоили ежевичный промысел, как только поспедали на кустах крупные ягоды. Обобрав ежевику снаружи, мальчишки сделали в кустах пролаз на территорию монастыря — и там обирали, наедаясь до икоты и сытости.

Дергоусов знал об этой мальчишечьей дыре и полз к ней.

Оцарапав спину коготками ежевики, скоркнув боком по заюзанным кирпичам стены, он вывалился на волю, на крутой скат глинистого берега. Опахнуло рекой и осокой, освистали его появление на берегу пронзительные стрижи, чиркающие голубое небо серыми стрелками. Дергоусов по короткой тропинке боком, скользя и припадая на руки, сбежал к реке, к бочажку с чистой водой, лёг на живот и уронил в воду потное лицо.

Со второго затыга удушающего самосада у Бобунова закружилась голова, образовалась тягучая липкость во рту. Он испугался обморока, прохрипел расплывающимся фигурам охраняемых:

— Ну, вы тут не это... Я шас!

На слабых ногах пошел в караулку и, черпнув в бачке литровую кружку воды, жадно зауркал треть посуды. Полегчало. Вышел к арестантам, снова сел на лавку дотягивать отведенный распорядком прогулочный час и погрузился в обычную задрёму.

Вернул Бобунова в действительность писклявый звон в паху: в застиранных и залатанных офицерских галифе карманные часы на толстой цепочке, с гравировкой на серебряной крышке «Да минует час разлуки нашей» отбивали время.

И галифе, и часы достались Бобунову в жестокий период классовой борьбы, когда он сопровождал пленных офицеров на концентрационно-сборный пункт. Через неделю сослуживец шепнул ему: мол, иди к коптёрочному писарю — одежкой разживись.

На стихийном складе в сарае Бобунов долго выбирал в тряпичных ворохах одежду по своему малорослому и худому естеству. Наконец облюбовал офицерское галифе и солдатскую гимнастерку размера на два больше, чем позволяла фигура. И в потайном карманчике галифе обнаружил Бобунов эти серебряные часы. Как до них не добрался пролазливый шмон расстрельной команды, обмародёривший каждую складку? Удивительно!

По-детски обрадовался Бобунов этой находке. Никогда в жизни не было у него такой красивой и нужной вещицы. Он берег её. Когда часы напоминали о себе ежечасным затаенным звоном, к Бобунову приходила воодушевляющая радость от того, что он имеет такую роскошь и она служит его жизни, как служила когда-то неведомому барину, белочину, врагу.

Он вынул часы из кармана, медленно отщелкнул крышку — на поляну высыпался тонкострунный перезвон. Не дав отыграть мелодию до конца, Бобунов ласково прижал крышку к циферблату и сказал:

— Время пришло! Давайте-ка по местам!

Арестанты медленно, переговариваясь, погля-

дывая на небо, шурясь от восходящего солнца, пошли к дверям изолятора.

Бобунов не только не считал их, он даже не глядел в их сторону. Когда последний сиделец захлопнул за собой деревянную в оковке железных полос дверь, охранник поднялся с лавки, поправил ссохшуюся, с заплатами кобуру нагана и пошел в караульную комнату.

Через шестьдесят лет эти почерневшего себры часы лежали на зелёном бархате под стеклом витрины в зале купеческого быта местного музея. Рядом — разъяснительная записка: «Часы принадлежали сыну купца первой гильдии Слабышева — Викентию, подпоручику. Были подарены ему перед отправкой на фронт супругой Аделаидой».

Каким образом часы, присвоенные красноармейцем Бобуновым, превратились в подарок Аделаиды, не скажет никто, даже сотрудники музея. Но зато какой сгусток истории в этом пояснении! А ещё часы эти явили Дольску нового дворянина.

Внук Бобунова Вениамин, человек мечтательный, как многие провинциалы, в начальные перестроечные годы начитавшись душещипательных историй о дворянах, титулах, голубокровных родах, возжелал перевестись из простолюдинов, каким был весь род Бобуновых, в дворяне.

В то время в Дольске как раз и появились первые новородные дворяне. Их образовалось три человека. «Голубая кровь» в них возникла с интервалом в полгода.

Первым современным дворянином в городке стал Вячеслав Кобылин — учитель истории в местной школе. Прозвище ему ученики дали самое немудрёное — Слава-Кобыла. Был он худой, рыжий, спокойный. Серые навывкате глаза смотрели на учеников отстраненно и нелюбопытно. Кобылин грассировал, как великий князь Константин Николаевич — его учитель видел в телевизоре. Жена Кобылина сказала тогда судьбоносную для мужа фразу: «Смотри, как ты похож на него!» А до этого Вячеслав Кобылин прочитал в каком-то историческом труде о московском боярине Фёдоре Кобыле и захотел природниться к нему.

Новорождённый потомок Кобылы и посове-

товал Вениамину Бобунову одворяниться, когда увидел его часы — подарок Аделаиды; сразу же и адресок нужный подкинул.

Вениамин поехал в областной центр, где уже организовалось дворянское общество.

Начальник дворянской канцелярии, в миру — юрисконсульт швейной фабрики, мужик полный, присадистый, с бритым черепом и хитрющими глазками, назвал цену за получение дворянского чина — двадцать тысяч рублей.

— Где ж я!.. — перехватило в горле у Вениамина. — Такая цена!

— За бесплатно — только в коммунисты, — отпарировал новоявленный дворянин, четверть века служивший коммунистической идее. Год назад в разрушительном восторге он сжёг партбилет и написал об этом подвиге в областной демократической газете. — У нас историки, учёные работают. Надо вырастить генеалогическое древо, оформить его, так сказать, «крону», найти вашу веточку и привить её к стволу... От этого самого... как вы назвали вашего протеже... Кобылы до наших дней. Труд, сами понимаете, нелёгкий. Зато будете с официальными документами и с подтверждённой родословной. Хоть граф, хоть князь — пожалуйста! Самые высокие расценки у нас княжеские — пятьдесят тысяч, граф — поменьше, сорок. Вы, я вижу, хотите стать просто дворянином? Двадцать — в самый раз...

— Может, подешевле какое звание есть? — как-то вяло попросил кандидат Бобунов. — Я сейчас электриком работаю... Сами знаете — копейки...

С жалостью и сочувствием глядел на Вениамина начальник дворянской канцелярии — так смотрят на безродного сироту; обреченно помотав тяжелой головой, он ответил:

— Только если незаконнорожденный. Обгулял какой-нибудь... граф твою мамашу-посудомойку. Бац! — и ты родился наполовину графом! Как Пьер Безухов. Учил в школе «Войну и мир»? Но, если граф тебя признает, в этом случае будет дороже тысячи на три! Деньги небольшие, зато имя будет отцово и титул само собой...

— Я ж не о своей матери! — возразил Вениамин, слегка обидевшись за родительницу.

— Какая разница! — раздражился канцелярист. — Бабка, прабабка! Легла под графа — и ты уже графских кровей! Десять тысяч — все хлопоты, и

герб в придачу... Ниже цен нет. Но я всё-таки советую подумать. Разница в деньгах небольшая, а молва, слухи!.. Мол, слаба матушка была, с графом сваялась, графский ублюдок... на всю вашу родословную пятно.

— Да мне... как сказать-то... графа-то и не надо. Просто какого-нибудь дворянина. Я вон читал, что Кобыла-то был боярин, не князь даже. Мне бы... чтоб в роду дворянчик какой... — Мелькнула в памяти Бобунова обезображенная осколком снаряда голова деда, его говор явно не дворянской тональности, но тут же внук мысленно ликвидировал картинку, показал канцеляристу часы с боем и мелодией.

Руководитель канцелярии не проявил к реликвии никакого интереса.

— Вещи не могут служить доказательством родства, — сказал он. — А таких, — он кивнул на часы, — в базарный день — пригоршнями! Отдай их музейным очковирателям — авось заинтересуются... В общем, — подвёл итог разговору дворянский консультант, — деньги и заявление — милости просим!

С тем и вернулся Вениамин Бобунов в родной городок и стал копить на своё дворянство: кое-что продал, кое-что заложил, кое у кого занял и через месяц вновь встретился с канцеляристом.

— Ну, вот и правильно, — сказал он, принимая деньги. — Всё чин-чинарём. Теперь будешь законнорожденным. Кому охота пригулянным быть... — положил заявление на дворянство в голубую папку с белыми тесемками и, шлепнув пухлыми ладошками по столу, уверил Вениамина: — Документы обрабатываются в течение месяца! Будут готовы — сообщим.

А через месяц — в этой же канцелярской комнате:

— Поздравляю вас, господин Бобунов, с возвращением вам и вашему роду дворянского звания. Отныне вы потомок боярского рода Бабуна! — и он вручил ошалевшему от счастья электрику четвёртого разряда большой лист плотной бумаги в вензелях, крестиках и разводах, на котором от руки тушью было завитушно выведено: «Обладатель сей грамоты является милостью Божией дворянином. И род его, и потомство его происхождения дворянского». Ниже, уже мельче: «Генеалогическое древо прилагается». И ещё

ниже: «Периодом прерванного дворянства считать годы с 1917 по 1991».

Генеалогическое древо было нарисовано цветными красками на таком же листе ватмана, что и дворянская грамота, — размер в размер. На больших и малых бирках, висевших на ветках, были написаны имена новоявленного рода Бобуновых. Прочитал Вениамин имя татарского мурзы Бабуна, выходца из Золотой Орды, который присягнул на верность царю Василию Третьему.

— Это зачинатель вашего рода, — торжественно сказал секретарь дворянского собрания. — Ему вы обязаны происхождением...

А дальше ветки путались, пересекались, выпрямлялись, и одна веточка, самая верхняя, высушилась из общей кроны, на голубой бирочке было начертано: «Вениамин Семенов Бобунов. Столбовой дворянин».

— Это вы на сей день, господин Бобунов. А дальше род пойдёт от вас, чертать будете сами! — сказал улыбающийся распорядитель дворянских званий с чувством хорошо выполненной работы. — Мы занесли вас в дворянский служивый реестр, и теперь вы являетесь действительным членом регионального дворянского собрания с правом решающего голоса. Поздравляю!

Так Вениамин Бобунов стал ещё одним дворянином в Дольске. А возглавил районную ячейку дворянского собрания Ростислав Ермолов, рыцарь Мальтийского ордена, работавший до дворянства агрономом в управлении сельского хозяйства. «Сколько же он отвалил за этот орден?» — мелькнула тогда склочная мысль у Вениамина.

Так трофейные часы бабушки Бобунова перевернули жизнь его внука.

Вениамин сдал часы в музей уже как дворянин и один из боковых потомков купца Слабышева.

— Кичигин! Огарышев! Перескок! Прощаев! Демокритов! Комшилов! Дергоусов!

— Я!

— Здесь!

— Тут!

— Есть такой!

— В наличии!

— Аюшки!

— Дергоусов где?

— До витру убер!

После обеда арестантов неожиданно вывели на перекличку. Обычно днём и вечером их не перекликали.

Они увидели у ворот грузовик, крытый брезентом, задний борт был откинут, и приставлена короткая деревянная лестница. У машины стояли, покуривая, два милиционера. Солнце спрессовало жару до почти ощутимой густоты.

«Повезут!» — хором стрекнуло в головах арестантов.

— Дергоусов где?! — поднял глаза на шеренгу арестантов начальник предзака.

Ему хотелось побыстрее отправить в губернию сидельцев и заняться домашними делами, о которых беспрестанно зудела жена: рвать вишню, выщипывать стрелки у чеснока, собирать огурцы и отправлять их на базар в Иваново-Вознесенск — рабочий прожорливый город. Да мало ли ещё что надо было сделать в большом хозяйстве!

— Дак он... это, ища с утра... того... — вполголоса сказал, оглянувшись на монастырские заросли, Перескок, словно боялся, что Дергоусов услышит его и сочтёт доносчиком. Добавил для оправдания: — Он с ночи животом маялся.

— Ба-а-бу-нов! — возопил начальник предзака, повернувшись к караулке.

Из двери боком выдавился Бобунов, держа в руке смятую будёновку.

— Ба-а-бу-нов! Твою маковку! И где Дергоусов?!

— Как же, как же! — зачастил Бобунов, прилаживая шапку на темя. — То ись все в наличии! Рась, два... — он начал считать скрюченным пальцем арестантов.

— Дергоусов где? — грозно спросил начальник, ощутив холодок от неясности последствий предстоящей разборки.

— Нетути... — прошептал Бобунов, оборвав счёт на шести. Его коричневый от курева палец указывал на пространство, где должен был стоять Дергоусов. — Батюшки! Да кудысь он сгинул?! Он жа не воробей, не перелетит стену! — запричитал Бобунов, топчась на месте и почему-то ощупывая кобуру.

— Ищи в кустах засранца! — крикнул начальник.

Бобунов, подстёгнутый приказом, рванулся в заросли, мстительно обещая кому-то:

— Шас изыдем, никуда он... курва такая!

Бобунов трещал сучьями и причитал в зарослях, а начальник пытал арестантов:

— Ну и когда он в бега подался?

— Видно, с утра...

— А вы, конечно, не видели?

— Кажный о своем печётся, не до Дергоусова...

Бобунов появился на поляне красный, с расцарапанным ухом:

— Нетути, как в воду канул... — отдышливо прищёпывал он. — Курва! Я ему хрябцы-то выхожу... Никуда не денется...

— Пропал! Твою маковку! — непонятно кого имел в виду — себя или Дергоусова — начальник. Снял фуражку с вмиг вспотевшей головы: — Служаки! Набрали калек! Где его теперь искать?

— Бутова надобно, он сыщёт, — схватился за соломинку Бобунов. — Он — мигом!

Послали в участок за Бутовым.

Конвойные успели выкурить по две папиросы — явился Бутов.

— Эка печаль — убёг! — успокоил он начальника предзака. — На то он и Дергоусов, чтобы бегать...

Бутов отвел начальника в сторону, они пошептались. Начальник успокоился и надел фуражку со словами:

— Ну, ты голова, Василич!

А успокоил Бутов начальника просто и доходчиво:

— Нам по разнарядке пятерых надо в губернию, а мы семерых снарядили. Один убёг, шестеро осталось — опять сверх нормы... Так что не поднимай шум, загружай!

Начальник снова ощутил солнце, жару, травяные запахи, понял, что будет рвать сегодня в саду вишни, выщипывать стрелки чеснока, есть густую окрошку — жить будет!

— Ты голова, Василич! — с давно забытым молодым восторгом от просвистевшей мимо его беды повторил он и махнул рукой конвоирам у машины: — Загружай!

Тяжело, с оглядкой на родное небо, жирную зелень, сулившую огородным людям богатый урожай, на знакомое лицо Бутова и незнакомые лица конвоиров, поднимались арестанты в кузов машины и рассаживались на поперечные — от борта до борта — деревянные скамейки.

Последним заходил батюшка Демокритов. Он трижды в пояс поклонился на обезглавленный

Спасский собор монастыря, трижды перекрестился, шепча молитвы, четвёртым крестным знаменем окинул проём в машине, куда поднялись его сокамерники.

— Не могут попы без ворожбы, — сказал губернский охранник, скривив узкие бескровные губы, обмётанные коричневым налётом от непрерывного курения. — Шустрей давайте! — Видимо, охранник был с зачатками интеллигентности: знал слово ворожба и называл арестантов на вы.

Подошёл второй охранник — ширококостный, узкоглазый, в мокрой от пота гимнастёрке, но застегнутой на пуговицы под горло.

Едва Демокритов убрал ногу, второй охранник схватил лестницу и, крикнув:

— Поднимай копыта! — сунул лестницу на дно кузова под ноги арестантам, больно стукнув багюшку по щиколотке.

Сдёрнули и завязали брезент широкими ремнями.

— Сопроводительные бумаги у вас? — спросил узкогубый охранник у начальника предзака.

— Всё тут, — начальник протянул охраннику папку.

— Эть! — крикнул Бутов. — Ещё раз гляну...

Он переложил слева направо семь листов. Один листок изъял, согнул вчетверо и опустил в свою полевую сумку.

— Вот теперь порядок, — отдал папку охраннику. — Везите, не растеряйте!

Машина по булыжникам вразвалку выехала из монастыря и, протяжно газанув, так же не спеша покатила в губернскую столицу.

— Что просили, то и дали, даже с припёком, — сказал Бутов. — А этот листочек с Дергоусовым мы на следующую порцию приготовим... — Он хлопнул ладонью по сумке.

— Голова у тебя, Василич! — снова похвалил Бутова начальник. — А с этим ротозеем что делать? — показал на уныло сидевшего на лавке Бобунова.

— Ничего не делай! Сидит — не падает, меньше разговоров будет...

На том и порешили.

В узкое оконце брезентового кузова машины тянуло холодком.

— Мы — ничего, едем, а что с Дергоусовым будет? — вдруг сказал кустарь Комшилов. —

Навлёк на себя беду, других сговаривал. Я чуть было не очаровался...

Посетовали на горькую судьбину Дергоусова, пожалели бедолагу мужики. Поймают — вот будет ему!

В другом монастыре, теперь уже губернского города, арестантов разделили на две тройки. Кичигина, Огарышева и Прощаева, как умеющих работать с землей, осудили на «перековку», на строительство канала, дав недельный срок для того, чтобы родные привезли им одежду и обиходные вещи.

Священника Демокритова, старосту Перескока и кустаря Комшилова, как злостных врагов советской власти и трудового народа, чрезвычайная тройка приговорила к расстрелу.

Приговор привели в исполнение у стены того же монастыря.

Через шесть лет с канала в родной город вернулся только Кичигин. Больной, потухший, безразличный к жизни. Его вольную огородную плантацию урезали до десяти соток. Отмеряя, на меже воткнули кол от срубленной ветлы. Через шесть лет кол вырос в новую ветлу — раскидистую, с жирными ветками, прямым гладким стволом, напитанным соками благодатной удобренной земли; стал он деревом красивым взору, но совершенно бесполезным для огородного хозяйства и даже вредным в засушливые лета, когда уцепистые корни отсасывали влагу у благородной высадки. Рядом был маленький прудик, сотворённый пульсирующим студёным ключиком. Из него брали воду несколько поколений Кичигиных — и на полив, и для самовара. Теперь пруд с родничком отошёл на ничейную землю. Ветла, разрастаясь и нагуливая прожорливость, подобралась корнями к пруду, выпила его и заглушила родничок.

Отмежеванные горкомхозу земли бывшего огородника, мелкого купчишки, врага трудового народа, правда, подвергнутого шестилетней перековке, заросли осотом, лопухами, мокрицей.

Сын Кичигина Василий сразу после объявления отца врагом публично отрёкся от него и уехал в губернский центр на строительство тракторного завода. Дочь Наталья вышла замуж за члена ячейки воинствующих безбожников и поменяла фамилию.

Кичигину с увядающей женой стало не под си-

лу обиходить даже десять соток земли. Он выходил в огород, злобно смотрел на иву. Однажды в запале попытался срубить её. Махнул топором, лезвие увязло в стволе — еле вытащил из проруба. Обессилев, заплакал. А через месяц на ивовой ране встопорщились бодрые свежие веточки. Иногда Кичигину казалось, что эта ветла высасывает и его силы, его соки.

Каждое утро, покопошившись в хозяйственных делах — поросёнок, овцы, куры, — Кичигин садился на скамейку в огороде и с дальнего взгляда злостовал на иву. Вскоре он стал замечать, что не только злится, но и вспоминает давние годы, когда на этих землях буйствовала огородная разнорослица. Четыре вида лука: зелёный, сеянец, репка, вихрастые стрелы на лук-чернушку. Ближе к пруду — огуречная поляна с высокими окатными грядками. Дальше, в тихой и жаркой ложбине с парным воздухом, — коротконогие плети помидоров с вызревающими на корню мясистыми плодами, получившими название «бычье сердце».

То полнокровное время оживало в памяти Кичигина, кружилось хорОВОДОМ вокруг этой ивы, инородно внедрённой в его разрубленный мир.

Кичигин стал уставать от оживляемого им огородного прошлого. Память же о канале была настолько близкой и невероятной, что он боялся даже на секунду возродить те дни. Она мучила его в бесконечных серых снах, когда он падал с груженой тачкой под крутую земляную насыпь и земля ползла по его ногам, животу, груди, вбирала его тело в себя, выдавливая воздух, душила. Он, дергаясь и крича, просыпался мокрый, с ломотой в теле. Гнал от себя этот сон и ругал жену, которая, замерев, сидела на кровати, глядела на мужа и плакала.

— Буди! — кричал он. — Буди, как только дёргаться начинаю!

— В церкву бы тебе, причаститься... — виновато шептала она.

Это еще больше раздражало Кичигина. Он вспоминал отца Сергия и вздорным протяжным голосом отвечал:

— В це-еркву-у?! Шлёпнули попа — и Бог не помог! В церкву... — отворачивался и мучительно засыпал.

Из-за вражеского прошлого Кичигина зять к нему не ходил. Дочь захаживала к матери.

После долгого нервного разговора с глазу на глаз она выходила в слезах, шмыгала за дверь, боясь вопросов отца.

Жена с обычным плачем рассказывала об изверге зяте, который мордует их дочку. В пьяном идейном возбуждении называет её «вражье семя», а сам живёт с ней, жрёт, паразит, что она сварит. Наевшись до отрыжки, говорит, как плохо она готовит. Требуется, чтобы она каждый день свежие щи варила! Где это видано у нормальных людей?!

— Чего ж она пошла за этого охлюпа лапотного?

— Пошла! — с укором тянула жена. — Кабы ты во враги не отправился, дак она бы цвела, а тут Савостиков такое в газетёнке расписал — хоть сразу всем в петлю...

Однажды Кичигин остановил дочь в дверях:

— Ты мне хоть скажи, в чём твоя-то вина перед ним?

Дочь, мигом побелев до заострившегося носа, с трудом шевеля губами, вышвырнула в напрягшегося отца:

— Все люди как люди, а ты?! Лучше бы и не возвращался оттуда...

Что-то ослабло у Кичигина в груди. Мелькнули в памяти детские счастливые от подарков и отцовской любви лица дочери и сына, взгорбаченные синюшные булыжины разлучной дороги, тряский кузов казённой машины; тачки, тачки, тачки, гружено уходящие в горизонт и скатывающиеся с него налегке. Мучительно вязкий, с хрипами кашель в парном тумане проживающего долгую ночь барака. Удивление от сохранившейся в нём ополовиненной жизни при выходе за колючую проволоку. Приезд в прошлую, но уже другую жизнь, с тоской и ожиданием обязательного несчастья, неудачи, болезни, дурного слова, косога взгляда чужих людей. Но в самых страшных затаённых думах не мог представить Кичигин, что его родные дети могут пожелать ему небытия в их теперешней жизни.

Отрёкшийся сын в гости не приезжал, а пригласил к себе мать. Она набивала узлы харчами и ехала на попутках в областной центр. Возвращалась домой вечером, кое-как раздевалась и без ужина валилась в тяжёлый сон. Кичигин не расспрашивал жену. Знал: ничего не расскажет сейчас, только слёзы польются.

На следующий день поведает мужу утреннюю придумку о жизни сына и его молодой супруги: как хорошо они её встретили, напоили, накормили, не знали, где и посадить. Оставляли на ночь, а она разве согласилась бы в чужом месте ночевать! А ему, Семёну Гавриловичу, сын вон какой подарок огоревал — сатиновые подштанники, новехонькие, у них на работе по талонам давали, а он отцу и приберег. Врала жена: подштанники эти были заранее именно для такого случая куплены ею на толкучке и спрятаны в сундук.

И сама она уверовала в свою придумку, лицо её просияло от осознания счастливой жизни детей в другом вообразенном мире, сшитом из цветных лоскутков ведомой ей хорошей жизни других людей.

Кичигин привык к этим обманам жены. Слушал — не слушал, кивал головой, а когда начинало закипать в нём раздражение, говорил:

— Ну и хорошо, и слава богу! — потом уходил на двор делать вечные необязательные дела.

После убойных слов дочери Кичигин окончательно понял, что он и есть настоящий враг своим детям, и стал уходить из жизни всё быстрее и быстрее, разрушаясь изнутри. Часто его охватывала паника, как в детстве: бывало, он заходил в глубь леса и терялся. Тогда поднимал лицо и сквозь разлёты густых крон хватал глазами полосы неба, искал спасительное солнышко. И если поднебесный подсолнух выныривал из комкастых тучек и сорил по серому лесному пространству жёлтыми лепестками лучей, страх и паника мигом уходили. Кичигин бежал на свет и выходил к людям. Но в этой последней отчаянной панике солнца не было.

Кичигин садился на берёзовый чурбан в огороде и часами, не отрываясь, изредка смахивая слёзы от рези в глазах, смотрел на иву. Теперь кашель рвал его лёгкие всё чаще и чаще. Однажды он сплюнул мучительный колючий отхарк в борозду и увидел красный сгусток.

Жена пригласила лекаря Степана Демьяновича — сухонького шустрого старичка, лечившего городской люд более трёх десятков лет и ставшего почти родным в каждом бедном и богатом доме.

Степан Демьянович приложил трубочку к сво-

ему мохнатому уху, другой конец — к мокрой груди Кичигина, замер на несколько секунд, потом вскинул голову, пристально взгляделся в безразличное лицо больного.

— Да вы, государь мой... — бодро начал он, а потом вдруг замолчал и приказал повернуться спиной: — Дышите — не дышите! — и так же быстро, видимо, услышав то, что ему нужно, велел одеваться.

Кичигин изо всех сил держался, а когда доктор отдалился от него, со стоном зашёлся в бесконечном булькающем кашле.

Степан Демьянович написал в рецепте, какие делать настои и отвары, какой порошок купить у провизора в аптеке и как его готовить. Провожавшей его до калитки жене Кичигина сказал, оглянувшись на дом — не слышит ли больной:

— Ах, государь мой! Все мы смертны, жизнь скоротечна и непредсказуема! Готовьтесь, матушка, такое не лечится — чахотка! А отварчики пусть пьёт, полегче будет... — и ещё что-то бормоча и вздыхая, ушёл доктор Степан Демьянович.

По заплаканному лицу жены Кичигин догадался о вердикте доктора и вдруг почувствовал облегчение, даже какую-то странную радость от того, что наконец-то всё разрешилось независимо от него и приговор окончательный, как тогда в губернском монастыре. Только теперь его не отправят на какой-нибудь новый канал, а будут умерщвлять здесь, оттягивая последний миг жизни на неопределённый срок.

После очередной бессонной ночи Кичигин попросил жену пригласить батюшку. Она удивилась такому желанию, но просьбу исполнила.

Батюшка, думая, что Кичигин будет исповедоваться и причащаться, в пузатом чемодане принёс всю для такой процедуры справу и, войдя в дом, спросил, где можно облачиться. Но Кичигин упредил посетителя:

— Ты, батюшка, сперва поговори со мной, а уж потом, может, я свою голову под епитрахиль и наклоню, а может, и нет! — сказал он, приглашая священника в горницу за круглый резной стол.

Батюшка размашисто перекрестился на иконы в красном углу, отчего огонёк лампадки под киотом заколыхался жёлтым листиком и осветил лики Богородицы с младенцем, Спаса на Убресе и Николая Угодника.

Утишая накаты кашля горячим травяным отваром из большой глиняной кружки, Кичигин гладко и складно от долгих повторений «про себя» спросил:

— Ты, батюшка, скажи мне прямо: Бог есть или его придумали? — видя настороженный взгляд священника, добавил: — Я не для пустой болтовни спрашиваю. Мне это сейчас позарез знать надо.

Батюшка пригладил бороду охватами больших пухлых ладоней. Повседневная озабоченность мирскими делами ушла с его лица, оно стало приветливым и задумчивым, и он ласково, словно ребёнку, ответил:

— Есть, Семён Гаврилович! Есть, коли веришь, а засомневался — и нет Господа у тебя!

— Я не про себя сейчас, батюшка! Я про других — сильно верующих, — перебил его Кичигин. — Я — что! Ходили мои дед с бабкой в церковь, и я — с ними. Ходили отец с матерью, и я соблюдал. Заведено так было. Не думали — хорошо это или плохо, есть Бог или его нет. Стоит церковь, молится народ — значит, есть. А как пошло крушение!.. Вроде бы верил человек, а начал иконы топором рубить, и рука не отсохла! Уж какой батюшка Демокритов был! Душа и уважение. Верил-то как! Нас всех в узилище крестами осенял, молился за нас, утешал: мол, терпите, Господь всё видит, заступится! А батюшку-то первого к стенке, и не отвёл Господь руку палача! Не заступился за своего слугу! — Кичигин дышал тяжело, с просвистами между хрипов, глотал отвар, кашлял. Батюшка оглянулся на жену Кичигина, стоявшую в простенке за сдвинутыми шторами. Она, заметив взгляд, ушла на кухню. — Ишь как я говорить научился... Раньше двух слов не выковырну, а на канале научили. Народу разного — тьма-тьмушная! И верующих, и неверующих, и с крестами, и без крестов — и все болели и мёрли одинаково. И на волю выпустили, кто выжил, — и с крестами, и без них. Вот я и спрашиваю: а Господь-то где? Что ж он не отведёт напасти от верящих в него?

— Ну что ж, отвечу, — заговорил батюшка, не оставляя паузы, опасаясь, что Кичигин продолжит свою речь. — Верующий не уходит от, как вы говорите, напастей, а принимает их как испытания, данные Господом. Он верит, что там, в жизни вечной, в царствии Божиим эти испытания будут доказательством истинной

веры. Христос смертные испытания принял, чтоб показать людям: видите, я, преобразившись в человека, перенёс самые страшные для человека муки за грехи ваши людские и воскрес, и с вами так будет, если вы поверите в меня, ради этой веры перенесёте то, что перенёс я, и только тогда вас ждёт жизнь вечная...

— Ах, вон что, — устало, на сторону сказал Кичигин. — И где оно, это царствие Божье с вечной жизнью? Хоть бы в щёлочку заглянуть, может, тогда и поверил бы! По-вашему, батюшка, надо, чтобы тебя в этой жизни мучили, морили, убивали... словом, гнобили, а ты молился, всех прощал и ждал, когда тебя переведут за это в жизнь вечную. Как батюшку Демокритова: пуля в лоб — и он в царствии Божьем гуляет по райским кущам, блаженствует и благодарит тех, кто его сюда спровадил. Так, что ли?

Лицо Кичигина стало сине-бледным. Он закрыл глаза, закинул голову назад от внезапного головокружения.

Батюшка встал с намерением уйти, но Кичигин, тряхнув головой, попросил:

— погоди, батюшка, я сейчас тебе последнее скажу! Исповедаюсь, а причащать не надо... Я скажу так. Никакого Бога нет! Ни Бога, ни загробной жизни, ни царствия небесного. Люди придумали Бога от страха смерти. Есть одна жизнь, которую живёт человек на земле, и останется после него только то, что сотворил человек на земле и хорошего, и плохого. А смерть — это сон без сновидений. Если бы действительно был Господь всеведущий и всемогущий, то не допустил бы он этой уродливой жизни, когда безбожники убивают верующих, когда дети отрекаются от родителей! Ну не может такого быть под справедливым Божиим оком! Не может! Это значит, люди придумали Бога как сказку и верят в неё. А я не верю! Вот и вся моя исповедь! Давай, батюшка, настоечки выпьем, — неожиданно предложил Кичигин. — Может, в последний раз видимся.

Но священник сразу засобирился. С поклоном трижды перекрестил Кичигина, проговорив:

— Господи! Отпусти ему прегрешения вольные и невольные! — и удалился.

Жена Кичигина всё слышала. Вытирая глаза фартуком, проводила батюшку до калитки.

Просила прощения, но тот сказал, что Господь зла не держит и давно уже простил их.

В конце августа после долгой сухой жары погода одной ночью переменялась. Подул резкий ветер, обрушился заливистый дождь. За полночь непогода успокоилась, и пополз на городок холод. Он окропил травы и кусты росой, вредной для огородных растений. В низинах и оврагах туман свалился в плотную серую дерюгу.

Кичигин спал теперь на кухне, на широком кожаном диване. Рядом стояло ведро, в которое он отхаркивал кровавую мокроту. Сон приходил к нему на минуты. Обессилен от кашля, Кичигин тыкался головой в промятый валик дивана и улетал в сон, из которого его так же быстро вырывал кашель. Однажды ему показалось, что очередной сонный уход из яви был долгим и после этого ему даже стало лучше. Он пытался возратить это состояние, но не получалось.

В канун Успенья Богородицы Кичигин попросил жену истопить баню, что она и сделала. Он помылся, надел чистое бельё, сказал, что ему сегодня полегче. Жена обрадовалась и сочла это милостью Богородицы, образу которой она вчера усердно молилась.

Лёг он рано. Помаевшись в кашле, неожиданно крепко уснул. Проснулся так же внезапно, и странно — не чувствовал в себе обычной боли. В теле была давно забытая молодая лёгкость; казалось, сверни сейчас ноги с дивана — так же, как в молодости, запрыгает он в утреннем ознобе по холодному полу. Но Кичигин не верил этому обманчивому состоянию и не шевелился, боясь спугнуть его.

Уходящий ночной свет назревшей луны вдавливался сквозь оконную занавеску. Кичигин откинул одеяло — холод облил мокрую от пота рубаху. В груди и животе заворочалось что-то большое и страшное. Оно начало торкаться в иссохшую болезненную плоть, искать выход и поползло вверх к горлу.

Кичигин понял — надо быстрее, иначе будет поздно. Это большое и страшное начнёт снова ломать и корёжить его. Надо уходить в сон... Он послушал тихий стонущий храп жены, на слабых ногах вышел...

Предутренний свет обозначил предметы в просторных сенях: два ларя — под зерно и муку,

три кадки с лежащими в них можжевельными вениками и крупными булыжниками для запаривания кадок под капусту и огурцы. Пилы, топоры, молотки, зубила в деревянных гнездах. В дальнем углу сеней Кичигин спрятал два хомута от бывших у него лошадей. Хомуты были старые, из сопревшей кожи и залосненной валяной шерсти. Лошадей и новую сбрую у врага Кичигина отобрали через неделю после приговора, а старые хомуты так и остались в хозяйстве.

Кичигин сунул руку за хомуты — есть! Повод из мягкой кожи, с гладкими уздечками на кованых кольцах. Стиснув уздечку, он пошёл по сырой тропинке к иве, плавающей в плотном тумане. Сдвинул густолистую ветку, и тотчас крупные спелые капли многоводной росы с головы до ног омочили его. Кичигину стало необъяснимо приятно и радостно. Он закинул конец повода за толстый сук, перехлестнул кожаный ремешок, чтобы не скользил, сунул голову в сотворённую петлю. Уздечки холодно охватили и вдавились в шею.

Кичигин посмотрел на родной тёмный дом, изо всех сил сдерживая выпирающее из груди на волю вживленное в неё чудовище, а когда этот нутряной зверь одолел его и с хрипом и болью хлынул через рот, Кичигин подломился в коленях. Уздечки схлестнули горло и задушили и зверя, и Кичигина.

Жена ранним утром, не найдя мужа на диване, слабая от испуга, вышла на двор. Прислушалась с надеждой услышать кашель, стук молотка, шарканье ног, но ничего этого не было, только квохтали куры в сарае и надсажался в крике петух. Она засуетилась в огород — сейчас увидит сникшую спину на берёзовом чурбане. Нет. И вдруг она увидела его в тумане у ивы. Он стоял, чуть наклонившись. Как будто меньше ростом, но там, у дерева, ямка — он в ней стоит...

— Семён, что ты там делаешь? — слабо спросила жена и, не дождавшись ответа, громко сказала: — Семён! Поди домой. Сырь какая, нельзя тебе...

Подойдя ближе, всё поняла и, вскрикнув, ткнулась в траву у куста смородины. А когда опаматовала, увидела кругом безлюдье.

Дрожа, она кинулась в дом, схватила ножницы, которыми стригли овец, тяжело подбежала к иве и перестригнула натянутый ремень повода.

Кичигин упал лицом ей в грудь, и жена плавно

опустила его холодное костистое тельце на густую траву.

Жена ужаснулась позора от такой ожидаемой, но неестественной смерти, предвидя пересуды и сплетни, которые будут растекаться по городку. Но горше и отчаянней было понимание того, что не будут отпевать Семёна Гавриловича в церкви. Тогда жена, может быть, первый раз в жизни решила исправить уготованный её мужу отрезок земного пребывания, сделать всё «по-человечески».

Она на байковом одеяле приволокла тело своего Семёна в дом, положила на диван, сменила ему исподнюю и пригласила доктора Степана Демьяновича.

Доктор Степан Демьянович всё понял с одного взгляда на лицо и шею Кичигина.

— Вы знаете, Феокиста Спиридоновна, — сказал доктор тихо, словно опасаясь, что покойник услышит его. — Я не осуждаю его. Я, может быть, лучше других понимаю его решение. И вы не осуждайте!

Доктор написал справку о том, что Семён Гаврилович Кичигин скончался в результате продолжительной неизлечимой болезни чахотки. Рубашка с глухо застегнутыми пуговицами под подбородок скрыла истинные причины смерти.

Священник, знавший о болезни Кичигина, совершил отпевание усопшего в его доме.

Сына Кичигина на отпевании не было по идейным соображениям — враг народа с попами. Дочь не пустил муж по той же причине.

Лишь позднее, перед отправкой на фронт, сын Кичигина пришёл на могилу отца.

Что-то давнее, из детства, лёгкой бабочкой шекотнуло память Василия. Мелькнуло солнечно, беззаботно, весело...

Отгнав эту мысль, потому что за ней немедленно ворвалось бы признание вины, Василий уходил от могилы, раздувая в душе год от года затухающее, но всё ещё теплившееся чувство обиды, которую нанёс вернувшийся с канала отец ему и всей семье.

Василий простил отца, когда тот душевной июльской ночью сорок третьего года пришёл к нему в палату тылового госпиталя и положил холодную шершавую, словно рашпиль, ладонь на его раскалённый лоб.

Отец улыбался ласково, как в детстве, когда

Василий, охваченный жаром скарлатины, метался на кровати, а тот сидел рядом. На коленях у него был горшок со льдом, и он накладывал свою ладонь сначала на комок льда, а потом на лоб сына.

Василий не удивился появлению давно умершего отца. И не только не удивился, а обрадовался.

— Папа! — сказал он забытое, затерянное в детстве слово. — Папа! — повторил, наслаждаясь звуком. — Папа, прости меня! — Василий заплакал, слёзы ослепляли глаза, и отец, спокойный, улыбающийся, стоял в мути и сглаживал влагу с лица сына.

— Мне не за что тебя прощать, — тихо отвечал отец. — Я никогда не обижался на тебя. Это ты меня прости...

— Ты не уходи, папа, — просил Василий. — Я скоро умру, и мы больше не увидимся. У меня в животе раны. Мне больно!

— Теперь мы всегда будем вместе, — сказал отец. — Давай руку, сейчас не будет больно, и мы пойдем ко мне.

— А мама там будет? — обрадованно спросил сын.

— Нет, нет, — сказал отец. — Ей пока нельзя быть с нами. Да и что ей делать среди мужиков!

И Василий согласился: действительно, пусть мать остаётся с дочерью и внуками.

Отец взял сына ледяной рукой за немощное запястье, потянул руку к себе. Василий легко поднялся с кровати и невесомо пошёл, не ощущая страха. С каждым шагом удаляясь от кровати, на которой остались боль и тоска, Василий чувствовал подступающее счастье, словно поток тёплого солнечного света на летней реке.

Санитарка, державшая руку Василия и вытиравшая пот с его лба, увидела, как его лицо, истерзанное болью, вдруг успокоилось, просветлело. Раненый улыбнулся, ещё раз произнес: «Папа!» — и, выдохнув последний раз, как ребёнок после долгого всхлипывающего плача, замер в неведомом живым успокоении.

— Отмучился, бедный, — обыденно сказала санитарка врачу.

— Готовьте документы, — сказал тот так же обыденно подошедшей сестре. — И койку освободите...

## 13

*«Много жуликов имеется в нашем городке. В базарные дни хоть из дома не выходи — и карманы обчистят, и без зазрения совести на базаре всучат негодный товар: сапоги с картонной подошвой, шали из крашенных ниток под видом пуха, часы без нутра, а пока в руках держишь — тикают.*

*Бывший заведующий забойной площадкой Логинов взял тридцать килограммов дохлой свинины и продал это непригодное в пищу мясо гражданам города по цене 20 рублей за килограмм. Граждане могли отравиться, но по случайности никто не пострадал. Логинов осужден. Не надо быть такими ротозеями. Надо бороться с этими пережитками царского прошлого. А сейчас нельзя друг друга обманывать, потому что мы все равны, кто трудящийся. У нас одинаково в карманах. От честного труда богатым не станешь. Кто наживается за счёт нечестных выдумок — вон с дороги!»*

*Н. Савостиков. Рабкор.*

*«Поправка. На прошлой неделе в нашей газете было напечатано: «70 пудов колхозного зерна сгнило». Следует читать: «70 пудов зерна сильно попортилось». Корреспондент наказан».*

*(Газета «Колхозный клич»)*

Как-то естественно Елагин вживался в жизнь городка. И не только в настоящую, но и прошлую. Здешняя прежняя жизнь была прошлым для Елагина, но не для многих ныне живущих рядом с ним людей. Он слушал их рассказы. Принимал их, словно конверты с письмами в большой почтовый ящик. Потом сортировал эти письма. Самые интересные запоминал, а когда их стало много и они начали ускользать из памяти, Елагин стал их записывать.

Пришло время — запланировал передачу о музее. Позвонил директору, и она направила его к научному сотруднику отдела хранения книг Вячеславу Кичигину. Мол, он пишет для газеты и выступит по радио, расскажет о новой книжной экспозиции.

Елагин, созвонившись с Кичигиным, пришёл в музей в середине дня.

Научный сотрудник отдела рукописной книги по долгу своей тихой и созерцательной

службы вот уже третий месяц составлял список книжных фондов вверенной ему библиотеки. В музейных фондах накопилось множество самых разных книг и рукописей. Часть их, наиболее солидных, привлекающих внимание дорогими переплетами, окладами серебряной чеканки, инкрустацией и пышным орнаментом страниц, была отображена, описана и находилась в экспозиции музея или на особом хранении в запасниках. Но большая часть книг из-за нехватки стеллажей была кое-как пристроена в свободных углах библиотеки. Вот эти фолианты разбирал и регистрировал Вячеслав Кичигин.

Он изучал переплёт. Заносил в инвентарный журнал название книги и её автора, век и год издания, если таковые значились. Описывал состояние переплёта и бумаги. Раскрывал книгу и читал текст. Конечно же, не весь, а кусочки из начала, середины и конца.

Последняя рукописная самоделка была выдернута Кичигиным из стопы на полу. Старинная деревянная обложка обтянута почерневшей, вытертой до дыр бычьей кожей и скреплена в переплёт просмоленным кожаным шнурком. Открыл обложку. Заскрипели слипшиеся толстые листы с впаявшимися в них плотными словами, сотворёнными чернилами невероятной стойкости и проникаемости в бумажные поры. Текст написан ровным полууставом, каллиграфически выверенной, опытной рукой.

Кичигин успел прочитать заголовок на первом листе: «Скоморох». В дверь застучали — из редакции.

— Я тут начеркал немного о новой экспозиции, — сказал Кичигин. — Если подойдёт, давайте запишем.

Они сели за большой стол с зелёным бархатным полом. Елагин настроил «Репортёр», растреножил микрофон, и Вячеслав хорошо поставленным голосом рассказал о готовящейся к открытию книжной выставке. Говорил о редких книгах, которые будут представлены в экспозиции, о неожиданных рукописных находках.

Закончив запись, продолжали говорить о книгах, которые самыми разными путями оказались в хранилище.

— Да вот наглядный пример, — показал Кичи-

гин на книгу, сдвинутую на край стола. — В ней всё необычно: переплёт, текст. Вначале полуустав, а с середины — скоропись. Название — «Скоморох». Что это? Оригинальное сочинение или переписанный текст? Если переписанный, то явно не одним писцом, а двумя или тремя, причём жившими в разные эпохи, — Кичигин взял книгу, раскрыл на середине. — Пожалуйста, читаю: «И пал с неба на город белый камень, и с той поры белы, аки снег, храмы возноситься из пепелищ и разора стали. И белы камня с письменами мудрыми в заклад храма мостились, и стоял храм на мудрости и святости вековой...»

— Белый камень? — спросил Елагин, вспомнив мучивший его давний сон. Хотел рассказать Кичигину о сне, но почему-то не решился.

— Да, — ответил Кичигин. — В фундаменты храмов замуровывали закладные камни. На них вырубали время строительства, при каком государе началось, в честь какого святого возведен храм. Случалось, на месте разрушенных церквей находили закладные камни с довольно странными текстами, которые невозможно расшифровать. Есть такая фантастическая гипотеза: камень с подобной надписью предназначается одному конкретному человеку из будущего. И если так случится, что человеку этот камень явится и он прочитает начертанный текст, это будет откровение, равное понятию смысла жизни. Как явление чудотворной иконы или обретение святых мощей. Скорее всего, это легенда, но есть в ней мудрость — прошедшее всегда находит нас, хотим мы этого или не хотим... — Вспомнил Кичигин странные крестики в тетради Бутова и своего дальнего родственника «врага народа». Он хотел было, но не стал всё же об этом говорить Елагину.

«Закладной камень! Так вот что летало в моем сне! — думал Елагин, уходя из музея. — Никогда в жизни не встречался с ним, не читал о нём, не думал, а он явился во сне! Суеверный знак? Предупреждение? Предостережение? Может быть, просто совпадение сна и кусочка реальной жизни?»

Через день Елагин позвонил Кичигину и спросил, можно ли ему почитать ту старую рукопись. Кичигин позволил, но только в библиотеке.

*«Были мы в селе Кистыш. Говорили с тамошними мужиками. Они спрашивают, зачем берегутся городские церкви? Попы-то разбежались! Хоть бы разрешили продавать колхозникам на кирпич для строительства. Этот факт знаменателен! Только колхозное сознание вывело мужиков на этот вопрос.*

*Наша безбожная ячейка выдвигает такой лозунг: «Из церкви — скотный двор! Из двух церквей — сапоговаляльная фабрика!»*

*Вот постановили в Кистыше отдать зимнее помещение церкви Потребительскому обществу для ссыпки зерна. Смелее перестраивайте жизнь, товарищи!»*

*Н. Савостиков (Газета «Колхозный клич»)*

*«Поправка. В газете за 15 июля с.г. была помещена заметка о том, что над нашим районом ночью пролетела комета под научным названием «Большевичка». Пролетая над колхозом им. тов. К. Либкнехта, комета якобы снесла коровник и выдула с двухсот гектаров урожай озимой ржи. Просим считать это клеветой. Такой кометы не было. Коровник сгорел по причине пьяного сторожа, а на озимом клину рожь не взошла из-за раннего посева и суровой малоснежной зимы.*

*Председатель колхоза, сторож и корреспондент строго наказаны».*

И снова читал Плотников этот странный текст.

*«В повалуше Увара Филька с Фокой спали на полатах, на колкой скользкой соломе, перемешанной от кровососущих гадов сухим рябинником и беленой. Были они несказанно рады тёплому месту и горячей еде, два раза в день сотворяемой женой Увара. Похлёбка, каша, свекольны взвары, услащенные сушеными ягодами, предлагались хозяйкой искренне, без едкой мысли, мол, обжирают калики православных. Кто их звал? Зачем пришли? Неведомо...*

*Женка Увара после прихода странников на воскресной исповеди поведала батюшке о гостях. Пожаловалась на скудность припасов и спросила, как ей быть: людей жалко, а в душе жадно.*

*На что батюшка, сказав о вездесущем бесовс-*

ком промысле, а именно он заскочил в нутро женки, велел изгнать его добродеем — поделиться со страждущими скудным кусом, отдать им с молитвой лучшее.

Так женка Увара и поступила. Тем более хворый Увар до беды был едок солощий, сейчас же почти ничего не ел, а только пил травяные отвары, с гухом кашляя после двух-трех глотков.

Фока готовился к представлению на торжище.

Прошелся по торговым лавкам и приходским церквям: слушал и запоминал голоса торговцев, мастерового люда, священников. У съезжей избы, на вытоптанной до пыли площадке, где читались воеводские грамоты о сыске воров и беглых, Фока кружил два дня и выкружил воеводский голос — тонкий, протяжный, ласково произносящий злые слова, и голос губного старосты — басовитый, комканный, глухой, словно поленом о пустую кадку. Голос приказчика — тьякающий, малословный, швыряемый просителям, словно милостыню.

Женский голос Фока прибрал у кабака, вжавшись в землю на пустыре у спуска к реке. Круглолицая приземистая женка в холщовом с заплатками по бокам сарафане и ладных тонкополосных бахилах, с нови проваренных в зелёном настое из речной осоки, а от долгой нёски ставшими жёлто-зелёными, словно кусочки глины в травяных полянках, громко, но не зло ругалась, повернув голову к открытым дверям кабака. В её голосе были одновременно упреки в адрес целовальников, сетование на слабость к кабаку мужа и понимание, а следовательно, оправдание его частых заходов в питейное заведение.

Женица отстояла на пугливое расстояние от кабака, и её ругань не могли в нём слышать.

— Эти ярыжки токмо давай — оберут, нальют! А он и воротит туда. Немощен — плачет слёзно, а идет! Как не идти? Мимо прошаги вершит, а ярыжки и уловят, как тинятники. Грех, а черти оне, не люди! Свят, свят... — крестилась женица, перехватив скрипучую корзинку из правой в левую руку. — Кабы вас огонь пожог — ладно бы... — заплакала баба, отвернулась от кабака и зашагала прочь, плотно притискивая подошвы бахил к вышарканной сотнями ног, выглаженной дождевыми пролизами, превратившими её в узкий лоток тропинке.

Фока выбрал из поликушек Увара попа и по-

падью, выстроганных из толстых полен, краснолицых и окатных. Воеводой определил куклу из гнутого ольхового сука с длинными ручищами и бордой из свалявшейся овечьей шерсти. Облюбовал женку из десятка разновеликих и разноцветных. Была она коренастая, ноги враскоряку, волосы — светло-серая пакля, сарафан из ряднины.

Поликушки лежали навалом в плетеном коробе, и Фока вынимал их с вывороченными головами, придавленными к спине руками и ногами. На многих поблекла и оскорлупилась краска, и были они кривые, совсем безглазые, безротые. Некоторые — калеки: руки, ноги и головы оторвались и лежали отдельно. Фока примерял их к вынутым из короба ущербным телам. Если подходили, то откладывал на лавку, потом пришивал, насаживал, строгал новые шарниры. Одевал разохшиеся до щелей тела кукол в обрывки холстин. Развёл в долблёных деревянных чашках краску — восстанавливал куклам глаза и губы, румянил щеки, синил кому надо носы. Закончив работу, вынес хворую кукольную толпу на двор, на солнышко, сохнуть.

Филька, боясь шевельнуться, глядел на умелую работу Фоки, на его широкие и плоские, словно заступы, кисти рук с толстыми, лениво двигающимися пальцами. Голова куклы ложилась в левую ладонь Фоки, тонула в ней. Оголенно торчал нос, безжизненно свисали конечности поликушки. В правой руке у Фоки, сжатая двумя брёвнышками пальцев, сухой былинкой торчала самодельная кисточка. Он окунал её в вампицу с краской и, стряхнув лишние капли, осторожно подносил кисточку к голове куклы. И тотчас одушевлялись глаза, оживали щёки и рот.

Фока глядел на зачарованного мальчика, улыбался. Отложив кисточку, насаживал поликушку на расщеперенные пальцы руки — и мигом воскресала кукла! Двигались руки и ноги, крутилась голова, и выпархивал чужой кукольный голос.

— Дай десницу, — приказывал Фока.

Филька протягивал руку. Фока сажал куклу на узкую ладонь мальчика, наставлял:

— Персты раскинь! Чуешь норки для каждого? Вдень персты в норки и шебарши ими.

Филька нащупывал углубления. Они были широки для его ладошки, и он с силой растягивал пальцы для того, чтобы попасть каждому в отведенную ему норку. Как только он попадал и начинал шевелить пальцами, кукла оживала, подчиняясь беспорядоч-

ным правилам судорожной жизни руки мальчика.

Фока смеялся:

— Эткоть, падучая хватила! Ишь, заелозилась...

После принимался наставлять Фильку: как надо двигать пальцами, чтобы кукла разумно жила, и не только жила, но и при каждом движении произносила нужные слова.

Эти скоморошья познания Филька применил через годы, сидя в Ярославской приказной тюрьме.

Он оторвал лоскут от полы зипуна и свернул его в огромную остромордую крысу с багровой шлепающей пастью. Багровость он сотворил из крошившегося сырого кирпича, крысиные хвост и лапы сплел из вялой соломы, на которой спали тюремные сидельцы.

Когда тюремный служака, сощурившись, стал выглядываться в решётку двери, перед тем как сдвинуть засов и вывести арестанта на площадь, на сбор обеденной милостыни, Филька медленно, снизу поднял на руке крысу, шлепнул крысиным ртом и прошипел зловеще:

— З-загрыз-з-зу-у!

Служка — парень с истонченной секущейся бороденкой и сонным взглядом голубых глаз — отпрянул от решётки. Отшагнув, запнулся за ступеньку, боком упал на каменную лестницу и, не отрывая взгляда от дверной решетки, на четвереньках закарабкался к выходу.

Едва Филька успел спрятать в соломе крысу, как на лестнице раздались топот, ругань, деревянное постукивание бердышей о ступеньки. Перед дверью голоса и шаги замерли. Кто-то выдохнул сдавленно:

— Тута...

Звонко стрельнул кованый засов, дверь тихо-тихо начала сдвигаться, и в щели у пола матово сверкнул начищенный штык бердыша.

— Не уколите до смерти! — подал голос Филька.

Дверь раскинулась от пинка, трое служивых и напуганный тюремщик слипшейся толпой ввалились в подземницу.

— И где зверь? — с интересом и явной издёвкой спросил старший служивый — жилистый мужик с густой каштановой бородой, в наспех накинутах на холицовую рубаху зипуне.

— Как Бог свят... Мне прямо в рыло... Пасть как у дьявола, спаси господи! — крестился тюремщик. — Ажник пал я оземь от ужаси!

— Мекаю я, со сна он вскинулся, — сказал второй служивый старшему. — Спит без меры, и всякая одурь в башку углезает. Людей от дела булгачит!

— А ты, сердешный, зверя не зрел? — с издевкой спросил старший у Фильки.

— Нетути, — изобразил удивление Филька. — Токмо крысы... Я их хвостами связываю...

— И то дело, — подхватил старший. — Дабы в бесноватость не пасть. А ты, уд свинячий, впредь не баламуть служивых, — обратился он к тюремщику, который с судорожной растерянностью рыскал глазами по подвалу, пытаясь найти хотя бы след зверя.

— Эх, растяпа, порты на витер повесь! — хохотнули казенные люди и, постукивая о ступеньки отвисшими в руках рукоятками бердышей, посмеиваясь, поднялись к голубому выходу на волю.

— Ишь, как зверь обуял, бытъта вяже, из бельмов не уходит... в церкву надобно... — бормотал тюремщик. Он забыл, зачем пришёл к сидельцу. И только когда Филька сказал о корке хлеба с водой, вспомнил: — Выходи на милость Божью!

А еще Фока научил Фильку волчьему вою, петушину крику, грачиному карку, свиному хрюку, соловьиному посвисту. Пытался научить людской разноголосице — не получилось у Фильки, не дано ему было ловить человечьи голоса.

Редко Филька применял зверино-птичьи навыки. Может быть, оттого, что чурался он скопления людей. Хорошо чувствовал себя только в одиночестве, в природе, в безлюдстве.

Несмотря на упреждение Увара — мол, накличешь бесов на свою голову — Фока сложил поликушек в короб, подлатал покров на четырех слегах с заостренными концами. Слеги втыкались в землю, образуя скомороший шалаш.

На базарной площади Фока примостился в углу у монастырской стены, отделяющую площадь и от территории монастыря, и от города. Ему показалось это место самым тихим: торговцы видели его балаган издали, а покупатели и зеваки проходили мимо этого места — значит, он никому мешать не будет — вставай, смотри и слушай. Он растреножил ширму на слегах. Воткнул их острыми затёсами в незатоптанную землю. Раскрестьем из строганных палок сотворил широкое окно, из которого Филька, вытянувшись на цыпочках, оглядел торговщице и удивился его необычному виду.

Въезжали на площадь подводы из окрестных селений. Мужики на возах переругивались: поборную деньгу на заставе взяли воеводовы холоуи и лапы в товар запустили!

Всё это видел Филька не единожды: и раннее предзимье с развеем желто-коричневых, словно припалённые хлебные корочки, листьев. Не омоченные ещё студёными дождями листья шурхали под ногами, взмётывались от игривых швырков бахилами, кружились по пыльным тропинкам и травным обочинам дорог. И толпы людей, похожих фигурами на маленькие серые овинчики на речном прилужье, запах и цвет товаров на деревянных прилавках, и говор, и крики, и зазывы — всё это видел и знал Филька. Но только почему-то в это сотворённое Фокой окно он видел всё по-новому. Он различал цвет одежды, узоры на платках и упряжных дугах, выпуклость мышц на лошадиных телах, глаза людей и животных. Люди, лошади, собаки, товары на лотках увеличились в этом чудесном Фокином окне и жили в другом, отгороженном от Фильки, но более понятном ему мире. Рамка окна отсекала лишнее, не было боковых столпотворений. Что в окне обрамлялось, то и было интересно.

Ближе к полудню, когда ярмарочный люд стал ощущать дневной голод, торгующие начали вынимать из подвод, повозок узелки и горшки с обеденными припасами, расстилать платки по столам и прилавкам, оголяя пирамидки из ломтей хлеба, яиц, лука, огурцов, сала, и, перекрестившись, жадно, хрустко едят. В это время и настал час Фокиной потехи.

Встопорчился в балаганном окне желто-красный кочет и кукарекнул так громко и протяжно, что у многих едоков замерли рты и руки с кусами хлеба, яиц и сала. Глаза людей замерли на кочете, отрешились от мира вокруг так самозабвенно, что неизвестно откуда возникший около крайнего прилавка отрок в рваном полукафтани с кушаком из трёххвостной пеньковой верёвки ловко смахнул себе за пазуху брусок топленого сала в соломенной обертке.

А кочет уже свистел, хрипел и захлебывался. Рвался в кабак — его не пускали ярыжки. Петух кричал, что у него там хозяин перемагает! Филька совал в руку Фоки «хозяина» — чёрного и носатого, с волосами из конского хвоста, и вот уж хозяин рвал на себе рубаху и кричал:

— Пустите мово кочета!

Кочета пускали. Хозяин хватал его, скручивал голову под крыло и отдавал ярыгам за ковши браги. Петушок квохтал и жалостливо просил хозяина пожалеть его, не отдавать на заклятие, но хозяин опрокидывал ковши в волосатый рот.

Появлялась хозяйка (коренастая баба у кабака) и тем самым недельной давности голосом проклинала кабацких ярыг, жалела мужа и кликала на кабака огненную погибель.

А петушок уже без головы лежал в ковше, и Фока хлюпал и чавкал ртом, подводя итог горькой участи проданного хозяином друга.

Мальцы и молодаяки начали плакать, смеясь и стыдясь этих неожиданных слёз. У каждого на дворах были петухи, и каждый вспомнил теперь своего горластого кочета и пожалел его.

Разошёлся Фока: дико ревел медведем, горько заливался иволгой, плёл узорные соловьиные посвисты, утробно каркал глянцевым вороном, лаял, хрюкал, ржал! А потом плотной толпой вырвались на торжище голоса: воеводы, старосты, приказных, служивых, купцов и монахов. Они жили назначенной им Фокой жизнью. Торговые люди, однажды слышавшие эти голоса и знавшие, кому они принадлежат, радостными криками утверждали их друг другу:

— Эть, поп из Казанской словно чугунок из печки катит!

— Слышь, подъячий змеем шипит. Истинно... Умя деготь брал... Обманул, стервь!

— Тиша-а! Воевода речет!

Тревожно, словно дальний гром в ясный полдень, накатился на базарный люд протяжный голос воеводы:

— Велю-ю оным скоморохам посулы делать! А кто зрит, а посул жадит, тому батогом по голому гузну-у-у!

— Ха-хай-й! Вить надо так сковрятать! Дока скоморох!

Появляется в балаганном окне толстый поп. Борода свилась с волосами на голове в мохнатый шар, из которого острой морковиной торчит красный нос.

Фока высоким голосом куражится:

— В селе нашем было... было, окрестил поп кобылу. Окрестил у речки, увёл без уздечки!

Филька поднимал лошадиную голову на двух палках. Поп в руках Фоки цеплял крестом кобылу за ноздрю и утягивал ее за границу сцены.

Базарный люд стискивался у балагана. Фока от одной прибаутки переходил к другой, менял кукол, голоса, наконец провозгласил:

— Зубы звякнули во рту — захотели хлеба. Дайте, братицы, на прокорм, некуда нам деться! — задернул штору балаганного окна, накиннул Фильке на шею ремешок от лубяного короба и вытолкнул из балаганного шатерка на волю — иди, посулы собирай!

Филька боязливо шагнул к толпе. Мужики и бабы расступились. Филька пошел по этому коридору, увидел тянувшиеся к коробу руки, услышал легкие толчки от падения на дно короба подачек. Скоро ремень стал оттягивать шею, короб наполнялся. Вдруг Филька услышал единый выкрик удивления сзади. Послышались отдельные выкрики, треск ломающегося дерева. Коридор сомкнулся, и Фильку зажали серые зипуны, кафтаны, поневы. Короб от сдавления затрещал, и Филька стал толкать им в спины людей. Но тут его плечо больно стиснула чья-то рука. Он поднял голову — серое бородатое лицо, шрам на щеке от брови до подбородка, злые воспалённые глаза.

— Не ходь, там беда! — зашипел человек с дурным лицом.

Но Филька вырвал плечо, в отчаянии рванулся к балагану, упал на короб, который лишь спружинил от лёгкого тела мальчика. И тут Филька в просвете между ног стоявших впереди людей увидел, как воеводовы служаки с бердышами разоряют балаган: на земле валялись разломанные, затоптанные куклы. Руки, ноги, головы вразброд и вперемешку. Фоке связали руки за спину и, толкая, понуждают выходить с торжища. Фока порыскал глазами по толпе и вдруг тонким детским голоском звонко затынул:

— Улетай, улетай, птишка! Прячь головку в таёмный<sup>2</sup> уголок!

Это ему, Фильке, даёт знак Фока — не надо подходить к нему и балагану — опасно!

Мужик писарского вида с вампицей на поясе шепнул что-то старшему служаке. Тот остановился и крикнул в толпу:

— Малец с им где?

Толпа молчала. Люди около Фильки стиснулись плотнее.

— Пошто утеху рушите?! — крикнул приказным молодой мужик из середины толпы. После этого выкрика людское сонмище словно очнулось.

— Пошто! Пошто! — закричали с разных сторон торговой площади. — К словну разбойники с большой дороги налетели!

— Геть! — крикнул старший служивый, встряхивая бердышом. — Воровские кличи! Ужо вам!

На миг — тишина, и ещё больше голосов из толпы:

— Грозит, выжлец!

— А ну — в круг их!

— Ратуй! — пронзительный голос неведомого человека словно обдул жаром голову Фильки.

Опять этот, со шрамом, стоит рядом с ним. И плотно к страшному стоят трое совсем не торгового вида мужиков. Один выделялся шириной и бугристой комкастостью тела. Бывает у сильных деревьев перевив волокон в стволах, когда пронизывают они ствол не прямо от корней к кроне, а идут извивом, словно переплетают ствол в тугую косу. Такие деревья, коряжливо не красивые, обладают невероятной мощью и живучестью. Но именно такие деревья выбирают молнии для страшного разломистого удара. Вот и мужик этот был похож на коряжливое дерево...

Встопорив бердыши на толпу, служивые увели Фоку с торжища».

## 15

В Дольске начали снимать очередной исторический фильм.

Городок семнадцатого века плотники сотворили за лето. Накатали брёвен «в лапу» — стены светлиц, загорода купцов, избы посадского люда. Сооружения пустотелые, без жилой начинки, только для общего фона. А монастыри и храмы в городе были самые настоящие: с фресками, иконами, резными иконостасами, выносными фонарями и всякими другими богослужебными принадлежностями.

Действие фильма должно было происходить вокруг строительства храма. В центре — трагическая судьба зодчего, а ещё скомороха и разбойника.

Площадку под киношное возведение храма определили на лугу у речки, под стеной бывшего женского монастыря. Рядом плотники срубили лобное место и дыбу.

<sup>2</sup> Таёмный - сокровенный, потаённый.

Осенью начали снимать раннюю весну с колеями и непролазной грязью на дороге, по которой и пришёл в город зодчий — строитель храма Иван.

В перерывах между съёмками по городу гуляла массовка. Парни в красных стрелецких кафтанах, опоясанных яркими синтетическими кушаками, с бутафорскими пищалями и натурального вида картонными бердышами.

Парни прижимали ладонями приклеенные усы и бороды, боясь их сжечь, курили сигареты, смеялись, приставали к проходившим мимо девочкам.

К определённом часу массовка собралась на лугу у дыбы. Начали с репетиции.

Режиссёр кричал в рупор команды:

— Построиться! Не улыбаться! Мрачность — на лица! В первом ряду! Что ты улыбишься как идиот! Шапку — прямо, а не набекрень, как сельский придурок! Внимание — на дыбу! Приготовиться! Мотор...

К дыбе под руки волокли тюремного сидельца. Он отрепетированно упирался, мычал, тряс искусственно обклеенной мохнатой головой, выкрикивал богохульные слова. На нём был изодраный овчинный зипун, нагольная рубаха до колен, серые грязные порты и лапти с онучами.

— Стоп! Стоп! — закричал режиссёр. — С какого хрена он одетый?! Его на дыбу тянут! Разденьте до пояса, грим сделайте — он не из бани на дыбу! Перерыв...

Стрельцы опять разбрелись курить.

На поле дул прохватистый ветер. Массовочные парни часто сморкались, зажимая пальцами ноздри. Сопли цеплялись за усы, вытягивались на бороды. Парни отшвыривали их, вырывали вместе с соплями клочки синтетических волос.

Воспротивился раздеванию актёр, игравший приговоренного к казни бунтовщика. Он был заслуженный артист, но на такой подвиг не решился:

— Да вы чего, ребята! — сказал он. — Тут любой без кнута околеет на таком ветру! В шубе — пожалуйста, а голым — нет! Ищите дублёра.

— Где мы найдем здесь дублёра?! — закричал режиссёр. — Всего-то три-четыре дубля, повисеть по две минуты! Хочешь стакан коньяку для страховки?

— Во-первых, я в завязке, — спокойно отвечал

на крик заслуженный артист. — Во-вторых, простатит заработать — на раз. Нет уж, я лучше в тепле посижу. Ищите дублёра, вон сумасшедших сколько глазают! Им скажи — в кино сниматься, они без штанов на дыбу залезут. — Он поскрябал через натянутый густокудрый парик вспотевшую лысину и ушёл в вагончик греться.

Режиссёр, матерясь, позвал второго режиссёра, тот — ассистента. Приказано было срочно найти дублёра на дыбу. Сулить горы золотые, но чтоб через час был.

— Кто желает в кино сниматься? — отчаянно крикнул второй режиссёр в толпу зевак.

Толпа единым шагом двинулась на него.

— Не все, мне один нужен, — остановил второй режиссёр желающих.

— А что делать надо? — спросили зевачи.

— Вон видите столб с перекладиной? На нём повисеть раздетым по пояс...

Толпа сдвинулась назад — если бы одетым...

— Черпакова позвать надо! — крикнули из толпы. — Он в проруби купается!

— Где этот... Черпаков?!

— Он в ОСВОДе работает!

— Кто за пятёрку приведёт Черпакова? — предложил второй режиссёр. Цена съёмочного дня в массовке была три рубля.

Трое парней рванули к мостику через реку — они знали, где искать Черпакова.

Через полчаса Черпаков подъехал на велосипеде. Трое парней сгрудили второго режиссёра — мол, давай пятёрку. Тот протянул им ведомость. Один расписался, и ошастливленные парни побежали в центр города в винный магазин.

С приездом Черпакова рассиялось солнце, но усилился студёный ветер. В околмонастырской ложбине ветер вкручивался в землю, не чувствуя простора, ошалело метался по съёмочной площадке, задирали полы лёгких бутафорских шуб и зипунов киношного люда, выбивал слёзы и сопели у редующего скопления зевак.

— Фактура по объёмам не подходит, но на безрыбье... — сказал второй режиссёр главному.

— Объяснил ему, что надо делать? — спросил главный.

Второй повернулся к Черпакову.

— Мне гонцы рассказали, — с растяжистой лендой в голосе ответил за второго Черпаков. — Сколько надо, столько и повищу... Только

вот мои условия: сто двадцать, и деньги сразу, до повешения!

Он невозмутимо оглядывал съёмочную площадку со светоустановками, кранами, парти-каблями, кинокамерами с трёх сторон, размеившимися толстыми кабелями, кое-где склывшимися в тугую пережёлт, автобусами с надписями «Мосфильм», «Съёмочный», и без надписей — с маленькими оконцами.

— Ты кого мне привёл? — с готовностью к скандалу спросил главный второго. — Что он из себя корчит?

— Его порекомендовали, Василий Соломонович, — кротко отвечал второй и прикрикнул на Черпакова: — Вы тут условия не ставьте! Здесь — кино, производство...

— Знаю я ваше кино, — перебил его Черпаков. — Людей душить натурально надо, а то — вон, — кивнул на стрелцов с бердышами. — От ветра топоры гнутся! Взяли бы в нашем музее парочку настоящих — да на передний план...

Первый и второй переглянулись.

— Вы, может, поучите нас кино снимать? — язвительно спросил главный режиссёр, не требуя ответа.

Но Черпаков ответил:

— А чего ж не поучить, если не умеете! Я свежими глазами всю халтуру вижу... Вон ваша артисточка — в шубке вроде бывалошней. Она кто — баба, девка, бобылка? Бровки выщипали, губы накрашили... А ходит как? Задом виляет. Раньше за такое вожжами бы выходили!

— Ну вот что, консультант, — перебил Черпакова главный, — мы вас не за этим пригласили. Вперёд мы деньги не платим. Пятнадцать рублей нормально будет. Это пять съёмочных дней в массовке.

— Вот и шукайте дураков за пятнадцать рублей, а я поеду. Когда сговоритесь на сто двадцать — дайте знать! — Черпаков закинул ногу на велосипед, повернулся: — И деньги — перед повешением! А то меня в «Гулящих людях» три раза в проруби топили за сто рублей и обманули — дали только пятьдесят. А вы — пятнадцать! Пока...

Время перевалило за полдень. Натура уходила. На западе роились серые клочки пока ещё лёгких облачков. Эпизод «На дыбе» срывался. И почему он, режиссёр, должен думать о ка-

ком-то дублёре? Почему не позаботились те, кому положено заботиться об этом? Почему этот придурок на велосипеде учит его, как надо снимать фильмы, и диктует свои условия? Первый опечалился, скорбно глянул на удаляющегося велосипедиста, а потом закричал так, что, кроме его крика с матерными вкраплениями, были слышны только завывы ветра.

Через десять минут Черпакова вернули на съёмочную площадку.

Помощник директора фильма отсчитала Черпакову сто двадцать новыми десятками. Он расписался в расходном ордере. Сказал вальяжной женщине с сигаретой в зубах:

— На охмурение народа всегда деньги найдутся! — аккуратно сложил деньги в маленький плоский кошелёк и отправил в карман спортивного костюма под молнию.

— На грим, на грим! — торопил второй режиссер.

Черпакова завели в вагончик, раздели до пояса, велели надеть широкие рваные порты и посадили в кресло перед большим зеркалом. Две женщины с боков притиснули Черпакова тугими бедрами, и началось его преображение.

Через полчаса в кресле сидела волосатая голова с синяками на грязных щеках, наклеенным кровавым шрамом через лоб. На груди Черпакова изобразили лиловые подтёки, на спине — багровые полосы от кнута.

— Ха-арош! — сказал второй режиссер. — Вот она, Русь изначальная!

— Вы тут костюмчик мой запряте, не спёрли бы! — побеспокоился Черпаков сквозь волосы, закрывшие ему рот, отчего слова прошуршали, словно ветер в соломе.

— Кто о чём, а вшивый — о бане! — укорил его режиссер. — Никто ваши вещи не возьмёт. Посидите пока, погрейтесь.

По замыслу главного режиссёра, дублёра и артиста снимали отдельно. Артиста волокли к дыбе, затаскивали на помост. Он сопротивлялся, делал зверское лицо, вращал глазами, кричал в толпу зачуженную крамолу, а вытягивали на дыбу и били батогами уже дублёра, то есть Черпакова.

Пять раз выволакивали заслуженного артиста. Он изображал муки приговорённого. Режиссёру не нравилось. Он кричал:

— Стоп! — подбежал к артисту, показывал, что он хочет видеть.

Дубль начинали снова. Артист устал, продрог, хотя после каждого дубля на него набрасывали дублёрку и давали чай из термоса.

Наконец режиссёр крикнул:

— Снято!

Заслуженный артист юркнул в вагончик, закурил и решил, что сегодня напьётся.

Настала очередь Черпакова. На него накинули байковое одеяло, подвели к дыбе, связали руки, и режиссёр объяснил, что и как надо делать.

— Батог — палка из пластика, мягкая. Тебе надо изобразить корчи от боли и повиснуть на верёвках, якобы от потери сознания.

— Сделаем, — отвечал Черпаков, для разогрева напрягая и расслабляя мышцы на груди и спине. — Я в «Гулящих людях» не то изображал...

— Освободить площадку! — крикнул главный в рупор.

Подбежала к Черпакову посиневшая от холода девица с фанерной хлопушкой в руках, что-то пролепетала, повернувшись к камере, щёлкнула хлопушкой.

— Мотор! — крикнул режиссер, и Черпакова начали вытягивать за руки вверх. Тело его длиннело и утончалось. Выкруглись рёбра. Живот западал внутрь. На его месте образовалась ямина, казалось, ещё немного — покажется позвоночник.

— Палач! — приказал главный, и артист, изображающий палача, свирепо замахнулся пластиковым покрашенным коричневой краской батогом.

Палка ласково шлёпнула Черпакова по якобы иссечённой уже кнутом спине и оставила на ней свежий красноватый подтёк.

Черпаков, изображая муки от боли, крутнулся на верёвках, чуть подтянул вверх колени, и в ту же секунду его порты, слегка стянутые в поясе петлей из верёвки, соскользнули с уменьшенного вдвое тела по рыжеволосым чистым ногам, полыхнули на публику красные в зелёный горошек трусы.

Хохот эхом прокатился по толпе зевак.

Режиссёрам и съёмочной группе было не до смеха.

— И-и-ит-т-вую! — закричал главный. — Когда ж это кончится?!

Подбежали к висельнику ассистенты и гримёры. Ослабили верёвки, и тело Черпакова, обретя упор под ногами, сжалось до повседневных размеров. Надели порты, затянули верёвку на поясе так туго, что у Черпакова жёлтым опльвом нависла на верёвку кожа. Готово!

— Мотор-р! — рыкнул главный.

Щёлкнула хлопушка, и тело Черпакова вновь стало вытягиваться, как у дождевого червя.

Палач снова стал ласкать спину Черпакова мягким батогом.

Черпаков натурально дёргался, извивался, и вдруг из его мятых штанов закапало. Левая штанина начала мокреть, а потом тонкая струйка, найдя, наконец, дырку у щиколотки, оросила помост.

— Отлично, снимай крупно, — шептал главный оператору. — Ну, консультант, находка! Сам догадался или подсказали? — спрашивал второго режиссёра.

Второй от удивления только пожимал плечами.

Главный крикнул:

— Отлично! Снято!

К Черпакову подбежали ассистенты, накинули на него одеяло, дали горячий чай.

А он, унимая дрожь, злобно шипел:

— Затянули верёвку! Обоссался даже. Чего не остановили?

— Так это ж находка! — отвечал ему киношный люд. — Изюминка! Натурально! Правдиво!

В гримёрном вагончике Черпаков снял порты и швырнул их в картонную коробку. Трусы облил из графина и выжал над этой же коробкой. Натянул спортивный костюм, вынул кошелек, пересчитал деньги — целы!

Зашедшему в гримерку второму режиссёру покаянно выговорился:

— В «Гулящих людях» в прорубь окунали — ничего! А здесь? Делать нечего — и на тебе! Видно, завязывать надо с кином...

— Вы отлично справились, — уверил его второй режиссёр. — Творчески осмыслили роль.

Подошёл заслуженный артист, сказал ядовито:

— Вот и заработал простатит.

«Ладно хоть с деньгами не обманули», — подумал Черпаков и уехал с площадки.

Обманчиво спокойная трясина провинциальной жизни год от года засасывала — без толку трепыхаться.

Не суетиться! Это правило обозначил и утвердил себе Елагин как девиз и руководство в своей теперешней жизни.

Он жил в узеньком приделке частного дома. В райкоме партии ему пообещали жильё через год-другой в новостройке, и он ждал.

Хозяйка дома — женщина пожилая, молчаливая, с причудами и очень экономная. Она сушила спитые чайные пакетики на кухне у печки и второй раз заливала их в чашке горячей водой. Разорвавшиеся пластиковые сумки из магазина не выбрасывала, а штопала аккуратными шовчиками, на твёрдый пластик накладывала круглые заплаточки. В одиннадцать часов вечера, если у Елагина в комнате горел свет, хозяйка стучала в стену и глухо дребезжала:

— У тебя одного на улице свет горит! Спят все!

Утром она говорила постояльцу:

— Чай, не бесплатно лампочки горят. При белом свете читай. Божий свет бесплатный...

Елагин оставался в редакции допоздна и приходил на квартиру только спать.

Что же случается с теми, кто начинает в провинциальной жизни «трепыхаться»? Как правило, в такие обстоятельства попадают люди из больших городов, занесённые в провинцию непредсказуемым зигзагом жизни.

Такой зигзаг приключился с артистом областного драматического театра Владимиром Кучерявым. Фамилия артиста была говорящей. Он действительно был чернокудр, правда, на макушке у него расчищался ровный, с чайное блюдечко, кругляшок плешинки. Артист Кучерявый был изгнан из театра за пьянство и, как следствие, срыв спектаклей. Пил он, как и многие его собраты по сцене, запоями. Беседовали с ним, прощали. Он давал слово. Месяца три в рот не брал, а потом...

И вот артист Кучерявый в Дольске. В народном театре «Родник» городского Дома культуры ставит спектакль «Без вины виноватые». Он режиссёр. Он творит. Он неистов! Репетиционные крики Кучерявого слышали горожане окрест уч-

реждения. Крики вырывались из открытых окон второго этажа тугими сгустками, из которых пронзительными осколками отделялись матерные слова. Горожане останавливались и с уважением вникали в творческий процесс. Многие пошли на премьеру спектакля только из-за того, что поверили слухам о небывалых матерных монологах, которыми пропитан спектакль.

Просмотрев представление как зритель, режиссёр Кучерявый ужаснулся, оценил свою жизнь как мерзкую, ничтожную и запил.

Целый месяц он квасил и по ночам кричал с балкона своей однокомнатной квартиры в панельном доме:

— Ка-азлы-ы! Ка-азлы-ы!

Горланил он во всю мощь легких. Панельный дом насквозь пронзали эти крики. Люди в соседних квартирах просыпались и замирали.

На балкон рядом выходила пожилая соседка — учительница на пенсии и ласково упрасивала артиста Кучерявого:

— Володя, успокойся. Кругом люди. Они добра тебе желают. Жизнь прекрасна, Володя!

— Люди?! — свирепел Кучерявый. — Где люди?! \*\*\*\*\*! — вопил на полный дых. Прояснял взгляд на соседку, спрашивал: — Ты кто?

— Человек, — отвечала соседка.

— Ты думаешь — звучишь гордо?! — спрашивал артист Кучерявый, прикинув роль из своего давнего репертуара. — Думаешь, ты создана для счастья, как птица — для полёта?! Ты не птица, а \*\*\*\*\*! — кричал с затуманенным взором Кучерявый.

— Спасибо на добром слове, Володя! — завершала попытку успокоить артиста соседка.

Потом артист Кучерявый сменил репертуар — стал по ночам будоражить соседей песнями революционной направленности.

— «Вихри враждебные веют над нами!» — рвануло в субботнюю ночь.

«Бой роковой» продолжался до тех пор, пока соседка не начала свою балконную медитацию:

— Володя, успокойся! Жизнь прекрасна...

Песнями Кучерявый изводил соседей три ночи, пока, наконец, они не вызвали милицию.

Артист стражей порядка в квартиру не пустил, а пригласил под балкон, с которого он читал стихи, озвучивал монологи и пел песни. В завершение концерта он спустил штаны, показал

публике голую задницу, запер балконную дверь и лёг спать.

Жизнь артиста Кучерявого завершилась творческим полётом с вновь построенной деревянной плотины на речке у туристического комплекса.

Напившись в ночном баре, Кучерявый вышел на безлюдную плотину. Шум падающей воды озарил артиста вдохновением, и он, прочитав на взрыде «Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой!» — перевалился головой вниз через деревянные перила. Через секунду лёта ударился плешинной о бетонную слизь водного стока. Сознание отрикошетило от головы артиста светлым шариком, словно неожиданно взорвавшаяся электрическая лампочка от перепада напряжения. Кучерявый только и успел пожалеть о непоправимости сделанного им, тело его скользнуло в пенный закрут и утонуло в грязной зеленовато-серой воде.

Утром тело артиста Кучерявого нашли у берега, в мелководье среди плавающих пустых бутылок, мятых пакетов и гниющих островков сопливой донной травы.

— ...Суетный человек был, — сказала Елагину квартирная хозяйка про Кучерявого. — Неприживлённый к нашей жизни...

Елагин посмотрел на пакетики с сухим чаем, которые висели на кухне на протянутой у печи бельевой веревке, и на какой-то миг понял артиста.

Сменить квартиру посоветовал Широлесов, услышав о жестоком распорядке в теперешнем жилище Елагина. Он же поговорил с новой хозяйкой, та согласилась принять постояльца. О хозяйке Широлесов сказал так:

— Фаина Сергеевна — женщина с биографией. Есть в ней и странности, но ты не обращай на них внимания: у каждого человека своя придурь.

Дом Фаины стоял на улице за редакцией. Это был осанистый пятистенник, за двумя окнами которого и была предложена Елагину комната.

Хозяйка дома, круглолицая черноволосая женщина лет пятидесяти, большими чёрными глазами коротко в упор глянула на Елагина, сказала ровным не дольского произношения и окраски голосом:

— Меркурий Петрович попросил, а я согласилась. Места много — живи.

Она провела Елагина в просторную квадратную комнату с двумя широкими окнами, кроватью с блестящими металлическими дугами и взбитыми подушками, круглым столом и тяжёлым шкафом, называемым в обиходе «шифанером». Как в большинстве деревянных домов того времени, на полу лежали разноцветные половички самодельной вязки. Круглые и квадратные, тёплые и шершаво мягкие под усталыми голыми ногами.

Елагина удивила необычайная чистота в комнате. В воздухе едва уловимо присутствовал какой-то медово-смоляной запах. Так пахнут сосны метрового обхвата где-нибудь на опушке леса в жаркий день.

— Вот здесь и живи, коли комната приглянулась. Здесь у меня дочка жила. Наверно, тебе ровесница. Она в Москве сейчас... Никто тебя оговаривать не будет, — сказала хозяйка. — Зови меня Фаина Сергеевна. А теперь пойдём, я тебя чаем напою...

В просторной светлице, где жила хозяйка, Елагин глянул на светло-коричневый резной киот. Богородица Казанская, Христос на убрусе. Под ними — небольшие именные иконы: святой Николай, святая Фаина, святая Дарья, собор Дольских святых... А над всем этим святым собранием в простой деревянной рамке под стеклом сиял лучистой улыбкой первый космонавт. Ещё с погонами майора, но уже со всеми орденами и медалями Родины и зарубежных стран. Цветная фотография космонавта была вырезана из журнала «Огонёк» и облагорожена под стекло. Портрет висел с лёгким наклоном, и космонавт улыбался каждому вошедшему в дверь светлицы.

Видя удивление Елагина, хозяйка сказала:

— Он для меня самый главный святой, — и спросила постояльца: — Неужели Меркурий не рассказывал тебе о космонавте?

— Я знаю, что космонавт был в Дольске, а подробности не знаю, — ответил Елагин.

— Ну и ладно, — ответила Фаина. — Меркурий не расскажет — я как-нибудь расскажу...

Они пили чай с печеньем на просторной кухне с печкой, газовой плитой и приземистым холодильником ЗИМ, который через получасовые

промежутки привскакивал и начинал мелко дрожать. Через минуту судорога проходила, холодильник замирал, и только тихое урчание в его недрах обозначало, что он живёт и готовится к новым судорогам.

Над кухонным столом висела фотография красивой черноволосой и черноглазой девушки в белом школьном фартуке и с бантом в волосах. Это и была дочь Фаины, бывшая старшеклассница дольской средней школы, а теперь — замужняя москвичка.

Едва произнёс Елагин:

— Сразу видно — дочь! Одно лицо у вас... — Фаина быстрым движением руки сняла фотографию со стены и унесла в комнату.

— Она хорошая! Я для неё плоха... — сказала, вернувшись.

Елагин поблагодарил хозяйку за чай и ушёл, сказав, что завтра перенесёт вещи и будет законным постояльцем.

## 17

Молодой Широлесов после армии работал заведующим хозяйственной частью в колонии для несовершеннолетних преступниц, размещенной в бывшем Спасо-Евстафиевом монастыре.

Девчонки были с тяжёлыми статьями: убийство, грабёж, бандитизм. Одно слово — оторвы. Появляющихся в зоне мужчин девчонки искушали: дразнили языками, задирали серые сатиновые платья выше колен, оглаживали ладонями груди и закатывали глаза. Конечно, когда рядом не было сотрудниц колонии в погонах.

Широлесов тогда обратил внимание на крупную полнотелую девицу, которая глядела из толпы колонисток чёрными влажными глазами, застенчиво улыбаясь, и никогда не делала то, что делали её подруги по несчастью в отношении мужчин.

Как-то разговорив капитана из оперчасти, Меркурий узнал, что Фаина, так звали девчонку, из Москвы, сидит за двойное убийство. Убила сожителя матери кухонным ножом, когда тот зажал её на кухне и начал тискать. Ткнула ножом инстинктивно, словно отпихнулась. Когда мать увидела, что натворила дочь, впала в истерику, кинулась на Фаину с кулаками и

проклятиями — защищаясь, та пробила ей голову тяжёлым бронзовым бюстиком Карла Маркса. После этого сполоснула водой нож и положила его в ящик стола. Вымыла кровь и с бронзовых кудрей, и с бороды Маркса, поставила бюст на письменный стол, за которым работал Фаинин покойный отец — профессор, преподаватель истории и политэкономии в закрытом институте. Словно во сне, она открыла дверь на лестничную площадку, села на кожаный диван в комнате отца и стала ждать смерти. Фаина не сомневалась: в наказание за содеянное она должна умереть.

Но смерть не пришла, а пришли соседи, — замелькало какое-то страшное, чужое, непонятное кино.

Очнулась Фаина только в Дольске за высокими стенами бывшего мужского монастыря, и странное чувство пришло к ней. Будто бы не было у неё прошлой жизни, а только обрывочные видения, неведомо как возникающие в голове: улица и дом на Страстном бульваре, широкие лестницы в прохладном подъезде, комнаты, мебель и лица, оплеснутые густой багровой краской, с невысказанной мольбой на мёртвых губах. Эту часть видений, всегда неожиданно вторгающихся в её мозг, Фаина уничтожала, не давая развиваться, словно вспыхнувшую спичку перед ворохом сушняка. Она интуитивно чувствовала, что если дать простор этим приходящим, всегда неживым образам, то они захватят всё сознание, тогда она уйдёт в их мёртвый мир и уже не сможет вернуться.

Фаина слухом своим припадала к бесконечной, часто разухабистой болтовне подруг по несчастью, слушала истории их жизни и походов, — сравнивая со своими бедами, вдруг приходила к мысли, что в её жизни не всё так страшно. Оказывается, есть случаи ещё ужаснее — и ничего, девчонки живут, смеются, шутят, надеются на скорое завершение периода жизни в колонии. Осознание этого давало Фаине хоть какое-то облегчение, к тому же от ночных кошмаров избавляла тяжёлая работа.

У колонисток, кроме учебы, было два вида работ: огород с хоздвором и цех, где шили сатиновые халаты и прямоугольные рукавицы с единственным чехлом для большого пальца — голицы.

Фаина и не предполагала, что ей, дочери столичного профессора, по душе придётся работа на хозяйстве, где было десять коров, пять свиней и лошадь.

За коровами ухаживали две вольнонаёмные доярки из пригородного колхоза. Они с грубоватым добродушием научили Фаину обихаживать коров: подготавливать вымя к дойке — мазать вазелином, массировать тяжелые молочные мешки, оплетенные синими жгутами вен, потом плавно, без рывков вытягивать из сосцов упругие струйки тёплого молока. Коров надо было чистить, менять им подстилку, давать корм и воду — тяжёлая работа, после которой Фаина в час отбоя падала на койку и мгновенно засыпала.

На скотный двор обычно отправляли нарушивших режим колонисток, а она работала здесь постоянно. Фаина была спокойна, молчалива, улыбчива, что, по мнению администрации, означало, что колонистка встала на путь исправления.

Молодой завхоз Широлесов выделил Фаину из числа других девчонок и относился к ней подчёркнуто серьёзно и уважительно.

Фаине в колонии исполнилось семнадцать лет, а в восемнадцать её должны были отправить досиживать оставшиеся шесть лет во взрослую зону.

«Там укатают, — думал Широлесов. — Превратят в эчку на всю жизнь».

Но судьба Фаины из прямой и невозвратной завернулась в колечко.

Слетал в космос первый космонавт. Ликовал мир, ликовала страна, ликовал городок и с ним вся колония. Это ликование вылилось у девчонок в письмо первому космонавту. Они писали о восхищении и гордости, о подвиге и героизме, в конце длинного письма пригласили космонавта на встречу с ними. Конечно, они не верили в то, что он не только приедет, но и вообще возьмёт в руки их письмо, а он взял и приехал!

Как из миллиона телеграмм и писем именно это попало в руки первому космонавту? Неведомо. Судьба!

Через два месяца после письма приключилась в колонии суета сует. Вдруг начали колотить, белить, красить, скрести, копать, мыть.

Точную дату приезда космонавта сказали только накануне, на утреннем построении — «завтра».

Осмотрели все комнаты, углы, закутки. Заменяли кое-какие койки, выдали чистое бельё, повесили нарядные шторы на окна. Провели последнюю воспитательную работу с контингентом: нельзя, нельзя, нельзя, а это — хорошо, это — можно!

Разучили на десять голосов приветствие космонавту. Выдали колонисткам новую одежду: сатиновые платья, а поверх платьев — белые школьные фартуки.

— Мне запахло таскать эти шмотки! — воспротивилась Верка-Щурёнок. Худая, гибкая, с оскалом мелких острых зубов. На воле — грабительница «на подставе». — Целку-пионерку хотят сделать! Пусть шныри хвостами кружат, а я — в отказ!

Её специфически ласково урезонила староста отряда Галя по кличке Прутик — ширококостная, с развалистой походкой, мясистыми щеками и холодным взглядом маленьких глаз. Ухорошала её неприглядный облик толстая, словно удав, туго переплетённая коса, скольцованная в три обруча на широком темени.

— Ты, бастрыга, кипиш не поднимай! Заткни пасть и мурлыкай под нос, — ровно, словно читала по бумажке, произнесла Галя. — Тебе слова не давали, поняла?

Верка изобразила гнев: раздула ноздри, сощурила глаза, оскалила зубы и втягивала сквозь них воздух. Но перечить старосте побоялась.

На Верку с таким остервенением набросились другие девчонки с требованием «падлу не строить» и «кайф не ломать», что она, не ожидая такого единодушия от подруг, перестала изображать гнев и пообещала «сыграть дуру без туза» — она девчонок не подведёт.

На вечернем собрании администрации колонии начальник Иван Васильевич, майор-фронтвик, умаянный за неделю подготовкой к приему гостей (по его словам, за неделю — годовая нагрузка), оглядел всех собравшихся по очереди, пристально и задумчиво, словно вспоминал: а это кто, зачем он здесь и что он сделал для встречи высоких гостей. Пригладил ладонью седые волосы, сказал:

— Ну, кажется, всё сделали. Надеюсь, не ос-

рамымся. Давайте ещё разок пройдёмся — может, чего и упустили...

И начались доклады отделов: спецчасть, хозяйственная часть, кухня, клуб.

Воспитательницы говорили о наведении чистоты в комнатах (слово «камера» в этом заведении не употреблялось), о внешнем виде девочек, об их поведении на встрече.

Иван Васильевич согбенно, словно в полудрёме прилёг на стол, слушал не слушал — будто бы искал что-то в своей памяти: упущенное, забытое, не нужное до поры, но именно сейчас важное, потому что пора эта настала. И вдруг он выпрямился, как-то даже весь взъерошился от погон до седого всчёса волос, шлёпнул ладонями по столу.

— Вот, вот... — приглушённым, стеснительным, но от необходимости напористым голосом заговорил он. — А уборная?! Вы подумали? Уборная! Хоть он и космонавт, а тоже человек! С ним свита, говорят, человек тридцать. Захотят... Мы что, в наши нужники поведём?! В обморок падать будут. Может, в девчоночьи весты? А? Сколько у нас на территории уборных? Широлесов?!

— Две, — ответил Широлесов.

— Чистил?

— Да как-то не дошли руки, — виновато ответил завхоз.

— Вот! — возгласил Иван Васильевич. — Две гнилых будки у стен — и никому нет до них дела! Выговор тебе, Широлесов! Понял?

— Так точно! — ответил вольнонаёмный Широлесов.

— Что будем делать? — тягучим назидательным голосом размышлял Иван Васильевич. — У них дорога дальняя да обед — здесь. Захотят — под кустики пригласим? Ну, свита, ладно, на ветер сходит, благо у нас есть заросли, а космонавт? Тоже шагай под куст с оглядкой? Стыд! Это ж на всю планету опозоримся! — голос Ивана Васильевича на последней фразе взмыл куда-то вверх. Он взывал уже не к сидящим за столом, а к всевышним контролирующим силам, которые только и в состоянии оценить ту степень раскаяния и будущего стыда, который может испытать он, если не исправит положение (канализацию в монастыре ещё только намечали провести). — Ну,

думайте, что будем делать? У кого какие предложения?

— Вычистим уборные... — несмело предложил Широлесов по праву ответственного за случившееся.

— Он вычистит! — снова обратился на сторону к тем же всевышним силам Иван Васильевич. — Он хочет в июле, в жару, вычистить уборные! Вот какие у нас мудрёные работники! — объяснял он незримым контролёрам, которые только и ждут его промашки. И тут же, отвернувшись от всевышних наблюдателей, обратился к подчинённым: — Да с территории вонь неделю не выветрится! Чистильщики! — и приказал: — По ведру хлорки — в каждый урильник! Чтоб никаких посторонних запахов! Понял, Широлесов?

— Так точно! — снова по-военному ответил Широлесов.

— А теперь слушай, Широлесов, такую команду, — утяжелил голос Иван Васильевич. — Строганая доска у нас есть. Бери столяров, мало — приглашай с улицы, но чтоб к утру новенькая уборная стояла. В саду лужайку выбери и поставь! Понял?

— Так точно! — ответил Широлесов. — Только время-то...

— Ночь впереди, — перебил его начальник. — Действуй! — и закончил совещание последним обращением к всевышним: — Так и порешили, а там поглядим...

Закрутилось. Трое столяров и немедленно привезенный на милицейском газике краснодеревщик принялись за дело: пилили, строга-ли, сверлили, долбили.

На рассвете раннее июльское солнце, привычно обмакнув в жёлтый цвет монастырские вишни, вдруг вспыхнуло белым магниевым огнём на блестящем миниатюрном домике с резным карнизиком, гладкими ступенечками и завитой в кренделёк дверной ручкой. Такой туалетный домик приладили на полянке ночные мастера.

И внутри всё было подогнано, пристрогано, оглажено. Сиденье делал краснодеревщик. Оно было удобно, по форме вырезано, отшлифовано тремя видами шкурки. В домике пахло свежим деревом, а в верхней части двери вырезана отдушинка в виде ракеты, в неё ветерок заносил вишневый запах.

— Ну, мастера! — восхищенно сказал незрым соглядатаям Иван Васильевич. — Это ж просто теремок! Вот и ругай после этого завхоза! Всегда бы так... — и обратился к поникшему от усталости Широлесову: — А теперь дверь — на замок, и до космонавта чтобы никто... ни-ни...

Широлесов повесил на дверь большой, на два оборота, замок в остатках солидола. Тот был призван издали останавливать возжелавших, словно злой пес у хозяйской калитки.

В день приезда космонавта рано утром в колонию приехали на «Волге» четверо. Вместе с Иваном Васильевичем и начальником оперчасти они прошли по территории монастыря, пристально осмотрели всё: каждый тупичок, башенку, ямку и нишу.

В кабинете Ивана Васильевича просмотрели список сотрудников. Приказали вольнонаёмных убрать с территории — отпустить домой. Дали ещё несколько беспрекословных указаний и уехали.

Иван Васильевич с чистой совестью отпустил Широлесова домой спать.

В час дня первый космонавт приехал в монастырь.

Милицейская «Волга» с мигалкой и сиреной расклинила тишину центральной улицы городка. Будоража зевак на тротуарах, пронёсся кортеж на окраину к монастырю. Здесь уже было перегорожено движение, оцеплен вход.

Перед воротами колонии машины сгрудились в стаю, и малочисленные отобранные люди, парадно стоявшие в отведённых им местах, тянули головы, пытаясь вживую увидеть такое родное из телевизора и газет лицо. Но из машин как-то неестественно и картинно, в блеске эполет, орденов и воинских знаков возникли генералы, полковники, чины пониже, — все они окружили чёрную «Волгу» и замерли.

Из двери машины выпрямился маленький, ладный, улыбающийся подполковник, и тотчас он, словно пестик в цветке, был обжат высокими и широкими лепестками — военными. Так что зеваки не смогли увидеть не только лицо космонавта, но даже кусочек его мундира.

Ворота распахнулись, втянули космонавта и его свиту внутрь и бесшумно от свежей смазки захлопнулись.

На стадионе построились колонистки в белых фартуках и с бантами в волосах.

Красавица Ольга Неведомская по кличке Утка из-за развалочки в походке, отравившая свою сестру крысиным ядом, приревновав её к её же мужу, с которым схлестнулась в первой взрослой и слепой любви, вышла из строя с хлебом-солью на расшитом полотенце.

Кольцо свиты разомкнулось, из середины вышел свежий, чистый, в безупречно прилаженном по фигуре мундире, такой родной каждому взору космонавт. Он искренне и светло улыбался и, казалось, был несколько смущён таким количеством красивых девчонок в первых рядах строя.

Красоту отсортировывал Иван Васильевич вместе с заместителем и воспитательницами отрядов. Иногда мужской взгляд не совпадал с женским, но последнее слово было за Иваном Васильевичем. Он строго говорил:

— Уж позвольте нам в женской красоте самим разобраться! — и добавлял: — Космонавт — мужик. Он по-нашему на женщин смотрит...

Конечно, об этой сортировке девчонки не знали.

Ольга Неведомская низко поклонилась гостям. Голосом взрослой женщины, с лёгкой хрипотцой пригласила космонавта и дорогих гостей на хлеб-соль.

Космонавт, улыбаясь, отломил корочку, обмакнул её в солонку и, похрустывая, с удовольствием съел. За ним по очереди приложилась к караваю свита.

С особым удовольствием глядели колонистки на огромного генерала. Он отогнул от каравая корку в ладонь величиной, взял щепотку соли, посыпал на хлеб и стал серьёзно, задумчиво есть.

Кроме двухметрового роста, у генерала был невероятной выпученности живот, и Верка-Щурёнок, забракованная по внешности в третий ряд, страдая местью, звонко сказала:

— Вот это пузо!

За то получила тычок под лопатку от девчонки из четвёртого ряда.

Удивление Верки гости не заметили.

Десять девушек из первого ряда бодрыми четверостишиями прославили подвиг космонавта и пригласили всех гостей в актальный зал.

Здесь космонавт рассказал девочкам о своём детстве и юности, о школе и ПТУ, в котором учился, о том, как хотел и стал лётчиком. Как попал в отряд космонавтов, как было трудно готовиться к полёту в космос. И о самом полёте рассказал.

В зале был только один голос — его, космонавта. Девчонки слушали, и каждая присваивала этот голос себе: он для неё звучит, космонавт ей улыбается, на неё смотрит. Некоторые отводили взгляд от сцены, испытывая какое-то неестественное, давно забытое стеснение.

Космонавту долго и звонко аплодировали. Потом он спустился в зал и сел в первый ряд перед невысокой сценой рядом с большим генералом и Иваном Васильевичем.

Девчонки со сцены читали стихи, пели песни, танцевали, теперь им аплодировал космонавт.

А дальше в судьбе Фаины произошло то, что называют судьбоносной встречей, то, что в иных судьбах и не встречается вовсе.

Воспитательница, капитан внутренней службы Раиса Сергеевна, раскрасневшаяся от волнения, похорошевшая, а не с обыденным, тусклым, безразлично-отрешенным лицом, показала гостям, как живут, учатся и где работают воспитанницы (так она называла колонисток) — учебные классы и производственные мастерские.

— А там у нас хоздвор, — показала Раиса Сергеевна на деревянную изгородь у дальней стены монастыря.

Оттуда настырно шёл запах навоза, который и остановил экскурсию.

Раиса Сергеевна повернулась спиной к хоздвору, показывая, что и гостям надо повернуться и уходить в другой конец монастыря.

Но космонавт поинтересовался:

— У вас там подсобное хозяйство? — и предложил: — Так давайте посмотрим...

Кто бы посмел отказать первому космонавту!

Территория хоздвора была чисто выметена, кучи навоза у стен прикрыты кусками толя и сверху прижаты кирпичами. Была чистота и в коровнике: свежая подстилка из соломы, вода в долблёных корытах.

— Ну что, товарищи, вспомнили, где молоко берут? — с улыбкой обратился космонавт к сви-

те. — А я пас коров, даже подоить могу! Кто о них так заботится? — спросил Раису Сергеевну.

— Девчонки... — засмушалась она. — Есть любители животных...

— Особенно есть одна у нас, — перебил воспитательницу Иван Васильевич. — Москвичка, отбывает... воспитывается... Дочь профессора, а вот как-то так...

— Интересно! — искренне сказал космонавт. — Давайте познакомимся с ней.

— Пригласите Самойлову! — крикнула Раиса Сергеевна дежурившим на территории девчатам.

Фаину нашли возле общежития. Две начальницы отрядов завели её в дежурную комнату, больно прищипывая бёдра, обыскали и сопроводили на приглашение. С половины дороги начальницы пустили Фаину одну, но зорко глядели ей в спину. Пока Фаину не приняли взгляды космонавта и гостей, офицерши не уходили.

Фаина стянула с коротких волос белый бант, скомкала его в карман такого же белого фартука и, повернувшись к начальнику колонии Ивану Васильевичу, попыталась «доложить по форме»:

— Воспитанница второго отряда... Статья...

Но её на полуслове оборвал Иван Васильевич:

— Вот что, Самойлова, ты расскажи нашим дорогим гостям о своём хозяйстве, как ты тут управляешься...

И Фаина своим складным акающим московским говорком без робости и смущения рассказала о том, как она заботится о животных, как неожиданно полюбила их, безмолвных и зависимых от неё.

Космонавт, внимательно слушавший, вдруг спросил:

— А Сергей Дмитриевич Самойлов вам случайно не родственник?

— Это мой папа, он умер... — ответила Фаина.

— Да-да, я знаю, он умер, — каким-то незнакомым быстрым голосом, словно оправдываясь, заговорил главный гость колонии. — Я сдавал ему историю! Я помню его! Он читал нам лекции! Кто бы подумал? — повернулся космонавт к сопровождающим. — Профессор Самойлов! А это его дочь...

Гости, удивлённые правильной речью коло-

нистки, после слов космонавта ещё внимательнее принялись разглядывать её, а огромный генерал снял фуражку и носовым платком размером с маленькое полотенце вытер вспотевшую, бритую до глянца голову.

Космонавт поблагодарил Фаину за экскурсию, пожал ей руку и, когда пошли обедать в небольшую столовую с верандой, сказал вполголоса генералу:

— Нельзя ли как-то помочь этой девушке? Всё-таки дочь профессора. Я у него учился...

— Да не вопрос! — повеселевшим голосом от того, что долгий приём высоких гостей заканчивается, сказал генерал. — День-другой — и решим...

Столы буквой П на тридцать персон были сервированы официантами обкомовской столовой. Продукты тоже были привезены из областных закровов родины, и на столах этого заведения впервые за шесть веков его существования появились сырокопченая колбаса, буженина, жареные куры в хрустящей панировке, шпроты, шампанское, коньяк, конфеты и много чего редкого, вкусного, праздничного.

Космонавта усадили во главе стола на высокий, морёного дуба резной стул, изъятый из запасников музея. На нём некогда восседал в Крестовой палате местного кремля архиерей.

По обе стороны от космонавта уселись на мягкие музейные стулья бывших городских купцов почётные гости из свиты, а все остальные и руководство колонии сели на длинные скамейки, покрытые колючими вязаными половиками.

Иван Васильевич по праву хозяина в очередной раз поприветствовал космонавта, подняв бокал шампанского.

И началось тихое застолье.

Космонавт пригубил шампанского, отвинтил от грозди виноградинку — закусил. Когда же принесли на подносе окрошку в глиняных горшках, радостно сказал:

— Окрошечка! — и съел свою порцию до днышка деревянной ложкой.

Больше он ничего не ел, а только иногда отщипывал виноградины, добрыми глазами глядел на застольщиков и потчевал:

— Ешьте, ешьте, обратная дорога дальняя!

Свита ела много и с удовольствием, особен-

но генерал. Он заплескивал в рот коньяк из маленьких рюмочек и, ни на кого не глядя, смачно жевал. Наконец он отвалился от стола и сказал:

— Уф-ф, жарко!

И тут случилась история, ставшая потом местной легендой, и участниками её, как ни странно, были первый космонавт и завхоз Шиголов.

Когда гости после обеда вышли на лужайку, космонавт что-то шепнул генералу, генерал шепнул полковнику, полковник — капитану, а капитан шустро подсуетился к Ивану Васильевичу и волнительным голосом выдохнул:

— Туалет где?

— Как же! — ответил Иван Васильевич. — Всё есть, как полагается!

— Проводите, — сказал капитан.

Он шепнул полковнику, полковник — генералу, а генерал — космонавту, и показал глазами на начальника колонии. Все двинулись за Иваном Васильевичем.

Было жарко. Солнце раскалило багровые монастырские стены, листья на вишневых деревьях поникли, и резной туалетный домик, по-прежнему бликуя матовыми отсветами, оголился, словно вышагнул вперёд, встречая гостей.

Иван Васильевич замер, худой торс его начал сникать, сгибаться вперёд, словно бегун готовился к старту. Он вытянул шею, упёр взгляд в дверь туалета.

К нему, чуя неладное, подскочил заместитель — чернявый лысеющий средних лет капитан.

— 3-3-3-амок! — мухой, попавшей в паутину, зинькнул начальник колонии. — 3-3-замок... — повторил он.

— Как распорядились, утром и повесили, — не понял заместитель. — Никто чтоб... не это...

— Ключ где?! — на тихом взрыде спросил Иван Васильевич, не глядя на заместителя, окончательно осознав, что попал и только чудо может спасти его.

— Ключ?! — охолонуло теперь и заместителя. — У завхоза он! А его — домой...

— А второй ключ? — метался разумом начальник колонии, пытаясь найти спасительную лазейку.

— Всё у него... — безнадежно сказал заместитель.

— Иди потрогай, может, сдёрнешь! — в отчаянии сказал Иван Васильевич.

Начальник оперчасти стал дёргать замок. Попытался скрутить его вместе с дужками — куда там! Всё сделано на совесть. Заместитель только измазал руки солидолом, которым был покрыт новенький замок.

Толпа гостей стояла поодаль, разговаривали, поглядывали в сторону туалета.

— Позор, позор! — тихо причитал Иван Васильевич, опять обратился к всевышним: — За что же мне все это?!

— Может, «медвежатницу» привести? — шепнул начальник спецчасти. — Она мигом скырнет...

— Ещё чего... — прошипел Иван Васильевич. — Медвежа-атницу! — передразнил. — Может, фомкой открыть — перед гостями-то... Позор!

Подошёл большой генерал. Он был красивый и потный. От него исходил жар, словно от котла.

— Чего забуксовали? — спросил он.

Иван Васильевич невнятными рассыпающимися фразами объяснил генералу, в чём заминка.

Генерал с добродушной строгостью сказал:

— Очковтиратели! — и ушёл к своим. Что-то обсудив, снова подошёл к страдающим офицерам, сказал миролюбиво: — Ладно, у нас женщин нет, где тут по-малому притулиться можно? — и, не дожидаясь ответа, направился в вишневые заросли, за ним отделились от свиты несколько офицеров.

Космонавт подошёл к домику с замком. Всё понял и вдруг захохотал таким отчаянным искренним молодым смехом, что все, кто его сопровождал, тоже засмеялись, но сдержанно и, надо полагать, не совсем искренне.

Офицеры вернулись из кустов. Последним вышел генерал. У него в руке была ветка с гроздьями спеющих вишен. Он отгонял ею мух от лица. Вид у генерала был такой, словно он ходил в кусты именно за этой веткой. Генерал улыбнулся Ивану Васильевичу и его заместителю во всё широкое лицо и сказал не то, что ждал виноватые хозяева:

— Спасибо за удовольствие! Честное слово, забыл, когда делал это на природе...

Космонавт в кусты не ходил. Судя по тому,

как он прощался с колонистами — жал руки Ивану Васильевичу и другим сотрудникам, шутил и смеялся, — он остался доволен встречей с неведомым ему доселе провинциальным миром. Таким далёким от его теперешней жизни!

Почему этот мир, непонятный и незнакомый, при первом же соприкосновении с ним может стать узнаваемым и родным?

Может быть, это — неведомое космонавту целиком — было частичками распределено в его предках и назвалось оно генетической памятью? Ведь пращурь и предки космонавта и в монастырях жили, и в тюрьмах сидели, и они секли. Их убивали, и они убивали. И передавались эти частички опыта и знаний из рода в род. И когда последний из рода встречался с чем-то неведомым, то он вдруг начинал понимать: это новое почему-то знакомо ему. Он это знает и принимает его.

Космонавта встречали в роскоши дворцов и площадей главных столиц мира. Принимали в апартаментах, созданных для ублажения любых прихотей человека. Он сидел за столами, где подавали самые замысловатые кушанья. Он видел и пробовал всё, что дозволено было единственному человеку в мире, которого мир единодушно любит. Но вот эта крошечка в крохотном городке, в колонии для несовершеннолетних преступниц, и этот туалетный домик, смастерённый только для него, он оставит в своей душе как драгоценную частичку своей жизни, которая, может быть, таинственными путями передастся его потомкам. И они, встретившись с неведомым, поймут его и примут благодаря вот этой драгоценной частичке, которую приобрёл и сберёг для них их предок.

Ворота колонии открылись. Взвыла сирена на головной машине. Удаляясь от монастыря, машины сомкнули за собой повседневную тишину городка, словно молния на одежде.

Спавший на террасе Широлесов приподнял голову от горячей подушки, мазнул ладонью по обслюнявленной от сладкого сна щеке, понял, откуда эти сирены, и снова ткнулся в липкий предвечерний сон.

Иван Васильевич был человек отходчивый. По-фронтальному обматерив Широлесова за ключи, он приказал разобрать туалет и отпра-

вить его на склад: мало ли кому еще доведётся посетить колонию.

Через месяц областной суд затребовал дело Фаины Самойловой. Иван Васильевич написал хорошую характеристику. Такую хорошую, что начальник спецчасти попенял ему:

— Не перехвалили? За такую характеристику можно орден давать...

— По мне, лучше перехвалить, чем недохватить! — ответил начальник колонии.

Через два месяца пришло решение областного суда. Фаину Самойлову освободить условно-досрочно как окончательно исправившуюся, но один год ей всё-таки полагается побыть под присмотром и поработать вольнонаёмной в колонии.

Жить в монастыре Фаина уже не могла. Мать Широлесова, работавшая в колонии поваром, пригласила её на постой в свой дом, в пустующий приделок: просторный, тёплый, с отдельным входом.

Катерина (Катька — по-уличному, в девичестве — Крюкова, по мужу — Широлесова) была женщина-веретено, а на злых языках — веретено косое. Энергия в ней от бесконечного движения не убывала, а как ни странно, увеличивалась.

Встав ни свет ни заря, она сквозняком носилась по дому: завтрак, обед, ужин — всё готовилось одновременно. Ещё куры на дворе, поросёнок в хлеву. В печь ставились разновеликие чугушки. Картошка с мясом и щи — людям. Мешанка: свёкла, брюква, мелкая картошка и в зависимости от времени года крапива с лебедой — поросёнку.

Корову Широлесовы не заводили. Однажды Пётр Широлесов заикнулся, мол, многие на улице держат, молоко своё. На что Катерина скомкала и вышвырнула его желание навсегда и безвозвратно:

— Ты будешь помогать с коровой управлять? На меня повесите? Я у вас корова! И двух коров не будет в этом доме!

Пётр работал пожарным. Был он медлителен, добр и улыбчив. Никогда не обижался на жену. В ласковые минуты звал её «шегуюток». При своей рослости и силе он боялся задеть жену рукой и словом. Когда Катерина распаялась и пуле-

мётила от очередного недовольства жизнью, Пётр улыбался, гладил её круглой, как лепёшка, ладонью по острому плечу и молчал.

— Катька, — иной раз говорили соседи, — вить ты змея змеёй, а такого мужика отхватила! Как это тебе удалось?

— Я только за деньги секреты открываю. Платите — научу! — смеялась она.

Катерина была женщиной хоть и вздорной, но доброй, отходчивой. Каждый год безудержно плакала, когда в дом приходил резаль Иван Бурюшкин по прозвищу Анпир. Она прощалась с поросёнком и уходила из дома. Возвращалась, когда туша её Борьки была разрублена на куски и огромная голова поросёнка с закрытыми глазами лежала на свежей соломе.

Мужики, воспалённые работой и выпивкой, ели жареную печенку и говорили о выращивании картошки.

По обрывкам разговора Катерина поняла, что выпивают они давно. Программу речей своего мужа она знала наизусть: после первых стопок — о войне, потом — о работе, дальше — о реформах и ценах, вполухлёпот — о начальниках — это когда выпито больше половины нормы, а смелость так и рвется с языка, потом — о странных явлениях в жизни (колдуны и разговоры). Тут Пётр обязательно рассказывал о своём сыне, рождённом за четыре года до войны. В младенчестве Залихманский младший орал ночи напролёт. Знахарка из Ляховиц (лесная деревня недалеко от городка) велела привезти килограмм сливочного масла и две селёдины. Одну рыбину обмакнула в святую воду, пузцо сына намазала сливочным маслом и этой селёдкой три раза шлёпнула по животу младенца. Пацанёнок авкнул собачонком три раза при каждом шлепке, потом уснул и с тех пор перестал по ночам реветь...

В разговор мужиков, словно в дробильный барабан, закидывалось всё, что попадалось под руку, всякая ерунда, которая объяснима только в мире, рождённом сверхмерной выпивкой.

В момент появления Катерины мужики напряжённо обдумывали случайно подслушанный рецепт выращивания картошки.

— ...И вот в ямку, перед тем как бросить картошку, надо плеснуть стакан молока! — с восторгом от познания неожиданного секрета го-

ворил Иван Бурюшкин, невысокий, коренастый, с широкими плечами и несоразмерно тонкими ногами. Ходил он всегда в тельняшке. Воевал на флоте. Был тяжело ранен в грудь, дышал с хрипами, курил и кашлял.

— Ну-ну, чушь! — с сомнением тянул Пётр.

— Чушь не чушь, а говорят, после этого картошка вот такая бывает... — Бурюшкин сложил два коричневых рыжеволосых кулака и вознёс их над чёрной сковородкой с остывающей уже печёной. — И таких на плети — по десятку!

«Это ж с одной плети почти ведро кулаков...» — пробила Петра алчная мысль. Но тут же эту мысль проглотило сомнение:

— Дак зачем в ямку молоко лить? Легче замочить картошку в ведре с молоком! Экономия... — помыслил он.

— Не-е! — почиркал воздух перед лицом Петра толстым пальцем Бурюшкин. — Козуля в том, что молоком надо облить землю в ямке и в эту грязьцу влепить картофелину. Она и попрёт, и попрёт! Говорят, и окучивать не надо, поглубже только ямку-то...

И в эту минуту вошла в дом Катерина.

Мужики спешно потянулись к стопкам, потому что почувствовали угрозу — их застолью приходит конец.

Так оно и случилось.

— Что, уже картошку сажаете? — с издёвкой спросила она. — Значит, пора настала!

— Да вот мы тут обсуждаем... — начал было Бурюшкин, но Пётр перебил его:

— Катя! — заулыбался он. — Садись, выпей с нами глоточек! Ты знаешь, какой рецепт у Ивана! Надо...

Катерина не только не пила, но даже в большие праздники не пригубливала, потому вспыхнула от такой забывчивости мужа. Но переборола в себе вздорные слова, тихим, слегка подрагивающим голосом сказала Бурюшкину:

— Спасибо, Ваня, за работу. Вот тебе деньги, как договаривались. Сало ты, наверно, уже взял, и до свидания! Сам видишь, мой уже заговариваться начал...

Бурюшкин встал из-за стола. Его мотнуло, но он выстоял.

— Ваня, прожужу! — попытался было встать и Пётр.

Катерина прижала его к столу взглядом и окриком:

— Сиди!

Пётр отвернулся и стал ковырять вилкой в сковородке.

Истрёпанный зелёный рюкзак Бурюшкина лежал в сенях. Иван нагнулся, его мотнуло вперёд. Он упёрся головой в стену, стал перебирать содержимое рюкзака: вымытые ножи в чехле. Один длинный, с ложбинкой по лезвию, для пуска крови. Другой — короткий и широкий — для разделки туши.

— Здеся! — сказал Бурюшкин, нашёл кусок сала килограмма на три. — Здеся! — Вынул литровую банку поросычьей крови под пластиковой крышкой. — Здеся... — он оторвал голову от стены, выпрямился. — Верись — нет, Катерина, только за счёт крови и живу, а то бы сдох давно! На, глотни... — протянул банку хозяйке.

— Убери, Христа ради! — запричитала она. — Ой, сейчас вырвет, не могу! Анпир ты чёртов! Тьфу, тьфу...

Бурюшкин хрипло захохотал. Сунул банку в стёганую ватную рукавицу, чтобы не разбить, поставил в рюкзак рядом с мягким, ещё тёплым салом.

Действительно, Иван Бурюшкин пил кровь, но он не был вампиром.

В госпитале хирург, делавший ему операцию, удивляясь живучести матроса первой статьи Бурюшкина, сказал то ли горькую шутку, то ли чистую правду: «Тебе, матрос, чтобы поправиться, надо кровь стаканами пить. Гемоглобин, брат!»

Стал Иван заправским резалем и начал пить кровь. Сначала глоток-два с отвращением, а потом обвыкся, за один засос выпивал гранёный стакан и пошёл на поправку: порозовели щеки, утишался кашель, на простуженных костях стали по-молодому, довоенному бугриться мышцы. Отбежал Иван от своего военного смертного приговора уже лет на двадцать, и — в это он твёрдо уверовал — только за счёт животной крови. Так и стали звать его в городке Иван-анпир, но резать приглашали только его. Он животных не мучил, колол точно. Они превращались в мясо, коротко хрюкнув, мыкнув, всхрапнув...

Пригласила Екатерина Фаину в свой дом и не ошиблась. Девчонка сильная, сноровистая. Скажи кому, что профессорская дочка из Москвы, — не поверят.

Фаина всё делала хоть и быстро, но как-то плавно, без рывков и отвлечений. Сделает одно дело, посмотрит, подумает и за другое берётся. Не то что Катерина — ветряная мельница! Эта быстрая степенность в Фаине и нравилась Катерине. В ней нет этого, и она по-доброму завидовала и тянулась к тем, у кого эта степенность была.

Но прежде всего Катерина думала о сыне. Без материнского контроля её «вахланю» возьмёт за ноздрю любая непутёвая. Такая, как вон Нинка через два дома от них. Глазёнки наведёт, волосы накрутит и снует мимо окон туда-сюда. Мать родная просит: «Нинка, сходи! Нинка, помоги! Нинка, сделай! А она — фыр-р! Не хочу, не буду, устала!» А с парнями уж обжималась по-серьёзному: видели спину в соломе, слышали пицание в стогу. Нет, Катерина своих городских не жалует. Может, оттого, что знает всех невест наперечёт — родителей их и родню до третьего колена, поэтому не находит достойной невесты для сына, а может быть, сына так любит, что материнская ревность всех невест в округе бракует... Кто его знает...

Сына Широлесовы назвали Меркурием в честь прадеда — то ли старовера, то ли каторжанина, а может быть, того и другого, чрезвычайно почитаемого в роду. Легенды эти передавались в многодетных родах, присочинялись всякие небылицы, и последнему из рода, Меркурию, уже досталась не реальная жизнь предка, а многослойная фантазия на тему его жизни.

Меркурий был на пять лет старше Фаины, но внешне разницы в возрасте не чувствовалось.

Катерина всеми своими бабьими уловками пыталась сблизить Меркурия с Фаиной. Любой самый малый семейный праздничек обставлялся Катериной так, чтобы Фаина не только была за их семейным столом, но и сидела рядом с её сыном. Количество семейных застолий увеличилось. Это заметил Пётр.

— Ты что-то, мать, разгулялась! — сказал он однажды, когда Катерина объявила о том, что надо отметить годовщину смерти свёкра, умершего десять лет назад.

День поминовения выпал на воскресенье. Катерина пригласила дальнюю и ближнюю родню, но пришли только её сестры с мужьями.

С первыми гостями вспомнили родственника. С лёгкой грустью обговорили уже десятки раз обмусоленные кусочки его долгой жизни. После третьих тостов забыли о свёкре. Началась обычная хмельная трепотня обо всём, что попадало из повеселевшего мозга на раскованные языки. Это походило на любительский футбол на уличной вытопанной лужайке, когда игрок пинал мяч как можно сильнее, не думая, куда он полетит. Скоро мяч прилетел к Меркурию и Фаине, сидевшим рядком на короткой скамейке.

— Гляди, кака пара! — в неожиданном озарении крикнула сестра Катерины с пылающими от самогона щеками. — Оба красавенные! Давай, Катька, женить их, пока не поздно!

Меркурий засмушался. Мельком глянув на Фаину, увидел совершенно спокойное лицо с полунатянутой улыбкой на плотно сомкнутых губах, словно на портрете Джоконды. Репродукция висела в классе воспитательной колонии, её Меркурий по просьбе начальника Ивана Васильевича саморучно приладил на стену как учебное пособие рядом с репродукцией картины «Неравный брак».

— Да я бы хоть сейчас такую сноху приняла! — откликнулась Катерина, без выпивки возбуждённая, с блеском в глазах.

— Ну, хватит вам! — сказал Меркурий. — Не царское время: женить — не женить... — Мелькнула в памяти картина «Неравный брак». Он выпил рюмку и вышел из-за стола. За ним Фаина, поблагодарив хозяйку, бочком вышагнула из комнаты.

— Может, в кино сходим? — спросил Меркурий в коридоре.

— Пойдём, — обыденно, просто ответила Фаина.

Она накинула вязаную кофту, и они пошли в кинотеатр, оборудованный в приземистом кирпичном здании бывшего Страстного монастыря под самой высокой колокольней в городке. Здесь и произошло событие, отшатнувшее их друг от друга навсегда.

Очередь в окошечко кассы была небольшая. Меркурий взял билеты и вдруг почувствовал

что-то необычное в атмосфере узкого предкасового закутка. Необычная тишина. Все, кто был здесь, замолчали и смотрели на них любопытно и с усмешками. Они прошли в фойе — и здесь глядели на них прямо, не отводя глаз и не пряча улыбок. Знакомые кивали Меркурию, но не подходили.

Так неловко Меркурий себя давно не ощущал. «Ну и что? — думал он. — Мало ли с кем я пришел в кино!» Он как-то незаметно подвинулся от Фаины, и это расстояние можно было бы принять за случайную встречу, которую в любую минуту можно прервать, сделав ещё один шаг в сторону.

Фаина совершенно спокойно разглядывала людей своими большими чёрными глазами: казалось, она видит окружающих, а они её — нет. Но люди замечают и, по вечным законам маленького городка, всё друг о друге знают.

Когда звонок пригласил зрителей в кинозал, толпа пошла занимать места, Меркурий услышал смешливый нарочито громкий женский полушёпот:

— Гляди, колонистку кадрит!

Широлесов повернул голову и увидел соседку, ту самую Нинку, которую он, несмотря на все её старания, не замечал или делал вид, что не замечает. Она была с двумя подругами, и они тройным дружным смехом встретили взгляд Меркурия.

Услышала эти слова и Фаина. Она ни единым движением не показала своего отношения к услышанному, а только ещё дальше отстранилась от Меркурия; хотя сидели они рядом, но весь фильм были как незнакомые, а выходили из зала после сеанса порознь.

Шли молча по ночным лунным улицам.

Меркурию было тоскливо и скучно. Он вспомнил материны попытки женить его на Фаине и чувствовал какую-то чужую несыновнюю злость на неё, словно она, обещая добро, на самом деле хотела ему зла.

Меркурий с Фаиной зашли каждый в свою калитку и с этих пор стали чужими людьми.

Матери Меркурий сказал, чтобы она больше о Фаине ему не говорила. А через месяц Фаина уехала в Москву, сказав, что её пригласила родная тетька.

### *Конец первой части*

#### **Павел Леонидович ПАРАМОНОВ**

*родился в 1949 году в с. Подолец Гаврило-Посадского района*

*Ивановской области.*

*Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.*

*Прозаик, журналист.*

*Автор книг: «Огородники» (1985),*

*«Урок музыки» (1986),*

*«Повести» (1991), «Души летящие» (2010).*

*В журнале «Север» публикуется с 1984 года.*

*Член Союза писателей России.*

*Живет в Суздале.*

